

# КУДА ВЕДУТ КАРТЫ



Это история о картах,  
которые не лгут,  
и о людях,  
которые лгут  
постоянно

ВЕРА РЕМДЕНОК

# Вера Ремденюк

## Куда ведут карты

*<https://litres.ru/74133669>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Англия, 1833 год. 13-летняя Лизз Асквит находит на чердаке старые письма и портрет человека по имени Джон Торн. К моменту совершеннолетия она отправляется в Лондон — искать правду о прошлом своей матери.

В Лондоне Лизз встречает загадочного картографа, который соглашается помочь ей. Он забывает есть, спорит с картами, как с живыми, и даёт ей четыре шиллинга — «инвестиция в ваше возвращение», говорит он. Но чем дальше заходит расследование, тем яснее Лизз понимает: картограф лжёт. За его ложью стоит тайное общество, которое держит в плену невиновных. И правда, которую ищет Лизз, может стоить жизни — и ей, и тем, кого она любит.

Это история о картах, которые не лгут, и о людях, которые лгут постоянно. О выборе между безопасностью и любовью. И о четырёх шиллингах, которые однажды стали инвестицией в будущее.

# Содержание

Предисловие	4
Пролог	5
Глава I	8
Глава II	23
Глава III	34
Глава IV	44
Глава V	50
Глава VI	58
Глава VII	66
Глава VIII	78
Глава IX	85
Глава X	91
Конец ознакомительного фрагмента.	92

# Вера Ремденок

## Куда ведут карты

### Предисловие

Эта книга — полностью художественный вымысел. Все персонажи, события, тайные общества и картографические мастерские существуют только на этих страницах. Любое сходство с реальными людьми и организациями случайно.

Действие романа разворачивается в Англии 1830–1840-х годов. Я старалась передать дух времени — насколько это возможно для человека, пишущего два столетия спустя. Если где-то экипаж едет быстрее, чем позволяли дороги, если какая-то деталь костюма или этикета не соответствует эпохе, если географические названия сместились на пару миль, прошу простить мне эти вольности.

В конце концов, картографы знают: даже лучшая карта не равна местности.

Спасибо, что открыли эту книгу. Надеюсь, вы найдёте в ней то, что ищете.

# Пролог

Читатель, я должна кое в чём признаться. Я не знала, что ищу.

Когда я была ребёнком, я думала, что ищу ответы. Почему моя мать смотрит в окно — и не видит меня. Почему отец молчит — даже когда молчание становится невыносимым. Почему в нашем доме так тихо — и почему эта тишина давит, а не успокаивает. Я думала, что ищу место, где смогу дышать полной грудью, где ветер не будет казаться таким колючим, а тишина — такой тяжёлой. Я думала, что ищу человека, который увидит меня настоящую — не маску, которую я надевала каждое утро, а ту, что спряталась за ней. Но всё это было не совсем так.

Я искала нить. Ту самую — тонкую, как паутинка, и такую же прочную. Которая связывает нас с теми, кого мы любим, даже когда они далеко. Которая не рвётся, когда мы пытаемся её разорвать — лишь врежется в пальцы, напоминая о себе. Эта нить ведёт нас через всю жизнь: через чужие города, где улицы шепчут незнакомые слова, через лица, которые мелькают, как тени в свете фонаря, и слёзы, горячие и солёные. Я не знала, что эта нить существует, хотя она тянулась через весь мой путь — от дома, где моя мать смотрела в окно и ждала неизвестно чего, до того самого места, где я наконец поняла, что всё это время искала не что-то, а кого-то.

Эта история началась не в Лондоне и не в тот день, когда я впервые увидела его. Она началась задолго до этого. В доме, где тишина была такой густой, что, казалось, её можно потрогать руками, а часы на стене отсчитывали не минуты, а годы ожидания. В саду, где старая яблоня, когда-то дававшая сладкие и сочные плоды, сохла год за годом, а её ветви тянулись к небу в безмолвной мольбе. И в сердце моей матери, которое никогда не переставало ждать — даже когда она делала вид, что больше ни на что не надеется. Я расскажу тебе эту историю так, как она была на самом деле.

Я расскажу тебе о письмах, которые нашла на чердаке — их бумага пахла пылью и лавандой, а чернила выцвели до рыжего оттенка осени. Я расскажу тебе о портрете человека, которого никогда не знала, но чьи глаза, казалось, следили за мной из темноты, пока я разбирала старые вещи. Я расскажу тебе о Лондоне, о его туманных улицах и звонких входных колокольчиках. Но главное: о том, как я училась прощать — сначала других, а потом и себя, — и как училась верить, шаг за шагом, словно заново училась ходить.

Но прежде чем я начну, я хочу, чтобы ты знал: эта история о том, что мы находим, когда перестаём искать. О том, что мы обретаем, когда теряем надежду. И открываем, когда закрываем глаза и перестаём бояться. И в самом конце, когда страницы останутся позади, ты вдруг почувствуешь это лёгкое прикосновение — будто что-то тонкое и прочное скользнуло между пальцев. Ты оглянешься на пройденный путь и

поймёшь: эта нить была с тобой всё время. Она есть у каждого. И она не рвётся — даже когда кажется, что всё потеряно.

Но я забегаю вперёд. Позволь мне начать с самого начала.

# Глава I

*В которой я впервые замечаю тишину*

В тот день нечего было и думать о том, чтобы остаться дома.

С утра отец уехал по делам, и его отсутствие ощущалось острее присутствия: кожаное кресло в гостиной стояло пустым, газета лежала неразвернутой, и в воздухе висело то особое напряжение, какое бывает в комнате, откуда только что кто-то вышел. Мать сидела у окна, как всегда. Ее пальцы гладили деревянную раму — три пальца, движение вверх-вниз, пауза, снова вверх-вниз. Я знала этот жест так же хорошо, как собственное имя. Если бы в нашем доме был герб, на нём следовало бы изобразить руку, глядящую оконную раму, и девиз: «Ничего не случилось».

Наш дом стоял на западной окраине Норфолка — там, где город растворялся в сельской тиши: мощеные улицы сменялись проселочными дорогами, а строгие каменные ограды — живыми изгородями из боярышника, усыпанными красными ягодами. Он был старым, из темного песчаника. Время покрыло его мхом, а трещины на стенах напоминали шрамы, хранящие давно забытые истории. За домом раскинулся сад, когда-то полный цветов и смеха, а теперь — заросший и молчаливый. Трава скрыла дорожки, и только старая яблоня не сдавалась: её голые ветви, как чёрные пальцы, тянулись

к закату солнцу, будто пытаюсь удержать ускользящее тепло.

Этот сад был мне дорог. Я часто сидела на старой скамейке под яблоней, глядя в серое небо, и пыталась представить, какой была моя мать в молодости. На старых зарисовках она стояла среди роз: темные волосы падали на плечи мягкими волнами, а зеленые глаза смеялись — будто знали какой-то секрет. Сейчас же та же женщина застыла у окна: взгляд скользит по улице, но не видит ничего вокруг.

Однажды я стояла в дверях гостиной и ждала, когда она обернется. Не знаю, зачем. Может быть, мне хотелось, чтобы она заметила меня без слов — просто потому, что я её дочь и я стою здесь, в ожидании ее реакции и тепла.

Я прислонилась к косяку и начала считать про себя: раз, два, три. На двадцати семи я сдалась и кашлянула. Звук получился тихим, почти робким — будто я извинялась за то, что нарушила тишину.

Она не обернулась.

— Мам, — сказала я.

— М-м?

— Ты меня слышишь?

— Конечно, слышу. — Она по-прежнему смотрела в окно.

— Что ты хотела?

Ничего, подумала я. Я хотела, чтобы ты посмотрела на меня. Это не «ничего», а, наверное, самое важное, что можно хотеть в моем положении. Но я не сказала этого. Дети в на-

шем доме не говорили таких вещей. Да и кто бы стал слушать? Мать — с ее вечным холодом. Отец — с его вечной газетой. Говорить здесь было всё равно что кричать в колодезь: звук возвращается к тебе обратно, только искаженный и чужой.

Мне было тринадцать, и у меня был старший брат. Его звали Уильям. Он был всего на два года старше меня, но мне казалось, что на целую жизнь. Уильям был тем, кого мать целовала перед сном. Тем, кому перепали редкие улыбки, словно золотые монеты, которые не тратят по пустякам. И тем, чьи письма — когда он на месяц уезжал к тётке в Линкольншир — мать перечитывала за ужином, беззвучно шевеля губами.

Я не ревновала. Ревность — чувство, которое требует равенства: ты хочешь получить то же, что и другой. Но я никогда не считала, что мы с Уильямом равны. Это было не просто мое убеждение, оно являлось полноправным устройством нашего дома, такое же незыблемое, как то, что часы тикают сбивчиво, а половицы скрипят по ночам.

Уильям был солнцем — ярким, всепоглощающим, дарующим свет по праву рождения. Я же была планетой на дальней орбите, чья роль — отражать этот свет, а не создавать собственный. И пусть свет солнца не доходил до меня в полной мере — что ж, так было заведено. Никто не спрашивал планету, хочет ли она быть на дальней орбите. Планета просто вращается, подчиняясь законам, установленным задолго

до её появления.

Уильям вошёл в гостиную, когда я ещё стояла у двери. В руке он держал книгу — тот самый томик стихов, который мать подарила ему на прошлое Рождество. Мне на то же Рождество подарили шерстяные чулки. Мэри. Не мать.

Я помню, как развернула их и подумала: «Вот. Моё место в этом доме — размером с детский чулок». И как всегда, в этот момент я почувствовала ту самую колючую горечь — не зависти, нет, а понимания: для одних здесь готовят книги и мечты, в то время как для других — практичные вещи и молчание.

— Доброе утро, — сказал Уильям и, проходя мимо матери, наклонился и поцеловал её в висок.

Мать подняла руку и коснулась его щеки — легко, почти невесомо. Так она касалась лепестков в саду и так она никогда не касалась меня. Я смотрела на этот жест, и в груди что-то сжималось, прямо как тугая пружина, которую закручивают до предела. Я знала, что пружина когда-нибудь разожмется. Но не знала, когда именно.

— Доброе утро, мой дорогой, — сказала мать.

Голос у неё изменился. Потеплел. Я слышала это каждый день и каждый раз удивлялась: значит, она умеет так говорить. Просто не со мной. Ведь я — не «дорогая». Я просто «Лизз». Один слог, который она произносила так же, как простые слова по типу «чай» или «дождь».

Уильям сел в кресло отца — ему позволялось то, что не

позволялось мне, — и открыл книгу. Он был красив той особой, спокойной красотой, какая бывает у людей, которые никогда не сомневались в том, что их любят. У него были тёмные волосы (не каштановые, как у меня и матери) и глаза цвета грозового неба. Он сидел в кресле отца, а я стояла у двери, и между нами была пропасть, для которой у меня не находилось названия.

— Ты опять глазеешь? — спросил Уильям, не поднимая головы от книги. Голос у него был ровный, беззлобный. Он не хотел меня обидеть. Ему просто было всё равно — а это, как я уже начинала понимать, ранит сильнее злости. Злость можно счесть хотя бы за внимание. А равнодушие — это когда тебя просто не воспринимают всерьёз.

— Я не глазею, — сказала я. — Я смотрю.

— Смотреть и глазеть — одно и то же.

— Нет. — Я сама не знала, откуда взялось это упрямство. — Смотреть — значит видеть. Глазеть — значит просто тарачиться.

Уильям поднял бровь (точь-в-точь как мать) и вернулся к книге. Разговор был окончен. Он умел заканчивать разговоры одним движением брови. Этому я завидовала даже больше, чем всему остальному. Больше, чем книге или поцелую в висок. Завидовала его способности быть уверенным, что он здесь главный и самый важный.

Мэри, наша служанка, спасла меня, сама того не ведая. Она вошла в гостиную со словами «Я отведу её на прогулку,

МЭМ» и вывела меня на улицу прежде, чем я успела понять, что меня спасают. Я была благодарна ей, хотя и не сказала об этом вслух.

Ноябрьский холод пробрался под пальто и устроился где-то между лопаток. Я шла и думала: вот так, наверное, чувствует себя старая монета — холодная, забытая в кармане зимнего пальто. Ветер гнал сухие листья вдоль мостовой, и они шуршали, словно старые письма, которые никто не прочёл.

Мы остановились у церкви. Мэри вынула монеты и протянула их нищенке. Та сидела на паперти, съжившись, прикрываясь от ветра потрепанным платком. Женщина была старой: лицо в глубоких морщинах, белые волосы, спутанные, как сухая трава, кое-где выбивались из-под платка. Она взяла монеты, не поднимая глаз, — её пальцы дрожали, а руки были покрыты тёмными пятнами времени.

— Спасибо, госпожа, — прошептала она.

Мэри ничего не ответила. Она развернулась и пошла дальше.

Я хотела последовать за ней, но на мгновение решила задержаться. Нищенка подняла голову и посмотрела на меня своим цепким взглядом. Ее серые глаза показались мне до жути пустыми, как у человека, который давно перестал ждать. И при этом в их глубине таилась какая-то странная, незнакомая мне доселе, мудрость. Я невольно вздрогнула: казалось, она видит меня насквозь и знает всё, о чём я молчу.

— Помоги мне, девочка, — прорычала она. Её голос был хриплым.

— У меня нет денег, — ответила я, чувствуя, как предательски краснеют щеки.

— Деньги не нужны, — усмехнулась она, и в этой усмешке было больше печали, чем злости. — Ты можешь помочь просто тем, что посмотришь на меня. Все смотрят сквозь меня, будто меня нет. А ты посмотрела. Спасибо.

Её глаза, пустые и бездонные, на мгновение встретились с моими, и страх сковал мое тело. Я замерла, пока не почувствовала странное сходство, неочевидное для меня ранее, между мной и ей. Все смотрят сквозь — я ведь знала этот взгляд. Я видела его каждое утро, когда мать смотрела сквозь меня (туда, где сидел Уильям). Отец смотрел сквозь меня (туда, где была его газета). Я была словно прозрачным окном. И единственным моим назначением было оставаться на месте и не мешать смотреть на то, что за мной.

У меня не нашлось для нее ответа. Я тронулась с места и поспешила дальше, догоняя Мэри.

Чуть проходя вперед, в переулке, мы наткнулись на семью: мужчина, женщина и трое детей. Они были очень грязные и одеты в лохмотья. Мэри осторожно обошла их и скрылась за поворотом. Я же, естественно, отстала. Меня поразила представшая предо мной картина. Женщина наклонилась к младшему, шепнула что-то на ухо — и мальчик рассмеялся. Звонко, заливисто, будто серебряный колокольчик. Она

поцеловала его в лоб и прижала к себе обеими руками.

Я стояла и «глазела». У них ведь не было ничего, но женщина целовала своего ребенка с такой безусловной любовью (причем она поцеловала не одного избранного, а всех троих по очереди), что у меня навернулись слезы. Она не выбирала. Просто искренне любила их всех, одинаково. И я вдруг поняла, что в моём доме любовь была сродни награды. Ее выдавали, как медаль. Чем ее можно было заслужить, я не знала. Но мне это было и не нужно, ведь мне все равно ее не дадут.

\*\*\*

Когда мы с Мэри вернулись, дома было тихо. Часы на стене тикали сбивчиво, словно спотыкаясь на каждом «тик» и сомневаясь, стоит ли продолжать. Пахло старым деревом и затхлостью — будто воздух здесь не менялся годами. Отец уже вернулся. Он сидел в своём кожаном кресле, пахнущем табаком, и читал газету. Мать, как обычно, у окна. Уильям расположился на ковре перед камином, с книгой на коленях. Он читал вслух и мать внимала каждому его слову.

Я села на своё место между ними — то, что не принадлежало никому.

— Как прошла прогулка? — спросила мать. Голос был рассеянный, она всё ещё слушала стихи Уильяма, а не меня.

— Мы с Мэри видели нищенку и семью в переулке. Они были грязными и голодными, но они смеялись так, как будто их это совершенно не волнует.

— Бедные люди часто смеются. Это их способ не сойти с ума. — подытожила мать.

— А почему мы не смеёмся? — вырвалось у меня прежде, чем я успела себя остановить.

Уильям перевернул страницу. Отец перевернул страницу. Два шороха нарушили тишину почти синхронно. Я посмотрела на них — на три фигуры, освещённые огнём камина, на тёплый круг, в который меня не пускали, и что-то внутри меня надломилось. Очень тихо, почти беззвучно. Так ломается ветка, которую слишком долго гнули.

— Почему ты никогда не смотришь на меня? — спросила я. Голос дрогнул, но я не отвела взгляд. — Ты смотришь на Уильяма. Ты целуешь Уильяма. Ты читаешь его письма. А на меня ты смотришь только когда я задаю вопросы, на которые ты не хочешь отвечать. Почему?

И снова тишина. Густая, как вода.

Мать медленно повернулась ко мне. Её глаза встретились с моими, и в этот самый момент я уже сильно пожалела, что спросила. В её взгляде не было ни любви, ни интереса. Только усталость.

— Ты всё придумываешь, — сказала она тихо. — Ты всегда это придумывала. Я люблю вас одинаково.

— Это неправда! — Я встала. Меня начало потрясывать. — Ты ни разу не посмотрела на меня так, как на него! Ни разу! Что я сделала? Чем я хуже? Почему он — твой дорогой, а я — просто Лизз? Почему ты отворачиваешься, когда я

вхожу в комнату? Почему ты никогда не спрашиваешь, как прошла моя прогулка, так, чтобы это дало мне понять, что тебе действительно интересно?

— Ты драматизируешь, — резко отрезала мать. Голос её был ровный и холодный. — Ты всегда была трудным ребёнком и искала, на что бы обидеться.

— А я не искала! Оно само меня нашло! — Я почти кричала. — Ты думаешь, я хочу чувствовать это? Ты думаешь, мне нравится знать, что я — лишняя в собственном доме?

— Ты не лишняя, — сказал отец, не поднимая глаз от газеты. Голос у него сделался глухим, словно он говорил из-под подушки.

— Тогда почему ты молчишь? — Я повернулась к нему. — Ты сидишь и читаешь свою газету уже тринадцать лет. Тринадцать лет, папа! Ты хоть раз видел, как она на меня смотрит? Или замечал, что за ужином она кладёт лучший кусок Уильяму, а мне то, что осталось?

Отец поднял голову. Его усталые, выцветшие глаза встретились с моими. Я ожидала увидеть в его взгляде что-то вроде гнева или защиты. Но, к удивлению, увидела только вину. Тяжелую, старую вину, которая, казалось, пролежала там уже так давно, что он сжился с ней.

— Я не могу, — сказал он тихо.

— Что — не можешь? — воскликнула с непониманием я.

— Не могу сказать то, что ты хочешь услышать. — Он отложил газету, но глаз не поднял. — Есть вещи, которые луч-

ше не трогать. Ты ещё маленькая. Когда-нибудь ты поймёшь.  
А пока

— А пока я должна просто верить? — перебила я. — Верить, что меня любят, хотя я этого не вижу? Что я не лишняя, хоть меня и не замечают? Как можно верить в то, чего нет, папа?

Отец ничего не ответил. Только плечи его опустились ещё ниже, и он показался мне очень, очень старым. И в этот момент я поняла: он не заступится. Ни сейчас, ни завтра. Никогда. Я знала, что он любит меня. Но его любовь похожа на свет далёкой звезды: она как-бы есть, но не греет от слова совсем.

Уильям поднял голову. Он молчал всё это время, но теперь его губы дрогнули в усмешке.

— Ты закончила? — ехидно спросил он.

— Что?

— Ты закончила? — он повторил. — Тебе сказали, что всё в порядке. Что ты ещё хочешь? Чтобы мать упала перед тобой на колени и поклялась в любви?

— Не начинай. — Я закатила глаза.

— Мама сказала, что любит нас одинаково, — продолжил он.

— Это неправда. — Отрезала я.

— Может быть, ты просто хочешь, чтобы всё было про тебя?

— Не смей.

— А то что? — Он закрыл книгу. — Что ты сделаешь, Лизз? Будешь смотреть на меня своим обиженным взглядом? Ты только это и умеешь — смотреть и обижаться.

Что-то во мне взорвалось. Не знаю, откуда взялась эта сила. Я была тихим ребенком и никогда не дралась. Но в тот миг — в тот самый миг, когда он улыбнулся своей ехидной, сытой улыбкой, я бросилась к нему, вырвала книгу из его рук и швырнула ее в камин.

Пламя охватило страницы мгновенно. Уильям вскрикнул. Мать ахнула и бросилась к камину, но было уже поздно.

— Что ты наделала! — Уильям схватил меня за запястье и вцепился ногтями. Я почувствовала резкую боль — его пальцы впились в кожу, и по руке потекло что-то тёплое. Я дёрнулась, попыталась высвободиться, но он держал крепко.

— Пусти меня!

Я толкнула его в грудь. Он покачнулся, ударился спиной о край стола и замер, глядя на меня с тем особенным выражением, какое бывает у людей, которые только что поняли, что могут изобразить жертву.

— Она ударила меня! — Его голос сорвался. — Она хотела меня ударить! Вы видели?!

— Я не хотела! — закричала я. — Он сам меня схватил! Он сделал мне больно! Посмотрите на моё запястье, посмотрите!

Я закатала рукав. На запястье горели красные полосы. Но они не посмотрели. Мать уже была рядом с Уильямом, об-

хватила его руками, прижала к себе — так, как никогда не прижимала меня. И её глаза, встретившись с моими, были полны резкого, колючего холода.

— Ты закончила? — спросила она.

— Мам, я он первый

— Ты сожгла книгу. Ты ударила брата. Ты накричала на отца и на меня. Ты довольна? Теперь ты чувствуешь, что права?

— Я не

— Мэри!

Мэри уже стояла в дверях. Лицо у неё было бледное, губы сжаты в тонкую полоску.

— Отведи ее наверх. Пусть посидит у себя и подумает.

— Он врёт! — выкрикнула я, чувствуя, как слезы текут по лицу. — Он всегда врёт! Ты слушаешь только его! Ты всегда слушала только его! Ты меня даже не слышишь! Я здесь стою и кричу, а ты смотришь сквозь меня, как будто я — ничто!

Мать не ответила. Она отвернулась и снова стала смотреть в окно. Ее пальцы машинально задвигались по раме. Вверх-вниз. Вверх-вниз.

Мэри взяла меня за локоть и вывела в коридор. Я не сопротивлялась. Ноги были ватными и каждый вдох давался с трудом. Мы поднялись по лестнице.

Наверху Мэри открыла дверь моей комнаты и посторонилась.

— Рука болит? — ласково поинтересовалась она.

— Нет, — соврала я.

Она вздохнула.

— Посиди, успокойся. Я принесу холодной воды. Приложишь.

— Они мне не верят. Думают, что я всё придумала.

Мэри посмотрела на меня долгим пытливым взглядом.

— Иногда люди верят в то, во что им удобно верить, — сказала она тихо. — Это не значит, что ты неправа.

Она закрыла дверь и я осталась одна.

За окном уже смеркалось. Я сидела на кровати, прижимая руку к руке, и смотрела на черные ветви яблони за окном. В ушах все еще звенели слова: «Ты всё придумываешь. Ты всегда была трудным ребёнком». Я знала, что не забуду их никогда. Они въелись глубже, чем ногти Уильяма.

Но самое странное, что я совершенно не чувствовала себя побежденной. Что-то внутри меня затвердело как камень. Теперь меня не могли сломать ни крики матери, ни молчание отца, ни ногти брата. Я не знала, как это назвать. Упрямство? Гордость? Или просто злость — та, что не гаснет, а тлеет, как уголь под золой?

За окном выл ветер. Запястье болело. Я закрыла глаза и подумала: однажды я уйду из этого дома. Эта мысль не была красивой. В ней не было обещания, которое дают героини книг. Это была простая, холодная мысль, такая же, как ноябрьский ветер за окном. Однажды я уйду. Не потому что я слабая и убегаю от проблем, а потому что оставаться здесь

— всё равно что медленно замерзать. А я не хочу замерзнуть на смерть. Я хочу согреться и жить.

## Глава II

Неделю назад я видела, как мать поднималась на чердак. Она не заметила меня — я стояла в тени у лестницы. Вернулась она через час с покрасневшими глазами и ничего не сказала. Я не спросила. Но с тех пор мысль о чердаке не давала мне покоя, будто между её молчанием и пыльными коробками наверху пряталась какая-то тайна, которую дом не хотел выпускать наружу.

И вот теперь лестница на чердак скрипела под моими ногами — каждая ступенька на свой лад. Я знала этот скрип с детства, знала, где наступить, чтобы не разбудить отца, когда он спал после обеда: на пятой ступеньке был самый громкий звук, на седьмой — почти бесшумно. Я могла бы подняться с закрытыми глазами и всё равно знала бы, куда ступить. Этот дом научил меня ходить бесшумно. И именно эта привычка к тишине сейчас помогала мне красться вверх, будто сам дом шептал: «Только тихо, не спугни то, что скрыто».

Поднявшись, я нащупала пыльную ручку люка и осторожно потянула её на себя. Она поддалась с неохотой, будто чердак не хотел пускать гостей. Я его понимала. Меня бы тоже не обрадовал незванный посетитель.

На чердаке было холодно и сухо. Воздух стоял спертый, как в старом сундуке, который не открывали много лет, и, в сущности, так оно и было. Маленькое круглое окно в углу

пропускало тусклый лунный луч света, и в нём сонно танцевали пылинки. Я зажгла свечу, которую взяла с собой, и тени прыгнули на стены. В детстве я боялась теней — мне казалось, что они тянутся ко мне из углов, хотят схватить и утащить в темноту. Теперь я смотрела на эти дрожащие полосы и почти улыбалась. Тени не страшны. Они просто показывают, где света не хватило. Бояться нужно не темноты, а того, что в ней прячут.

Сундук стоял в углу, где я его помнила: большой, кованый, с медными уголками, потускневшими от времени. На них проступили зелёные пятна окиси — такие же, какие бывают на старой церковной крыше. Крышка была слегка приподнята, а замок висел открытым: ключ потерялся много лет назад, и никто не пытался его найти. В нашем доме вообще редко что-то искали. Мы предпочитали не находить, ведь это означало задавать вопросы, которые здесь не любили.

Я подошла к сундуку и опустилась на колени. Пол под мной был ледяным — ноябрьский холод пробрался даже сюда, под крышу. Я открыла крышку, и петли застонали. Звук был такой, будто разбудили кого-то, кто не хотел просыпаться.

Письма.

Два десятка, не меньше, перевязанные шелковой лентой — когда-то белой, теперь пожелтевшей, хрупкой, как высохший стебель. Я коснулась её с опаской: казалось, одно прикосновение и она обратится в пыль. Но лента удержалась.

Она была сделана из более прочного материала, чем можно было предположить.

Я взяла связку в руки. Письма оказались лёгкими, почти невесомыми — тонкая бумага, поблекшие чернила, местами почти стертые временем. Я развязала узел и замерла. Мои пальцы дрожали не от холода. Я чувствовала себя воровкой, ведь эти слова были написаны не для меня. Они были адресованы женщине, которую я называла матерью, но которую, как мне иногда казалось, я совсем не знала. Читать их сейчас было всё равно что подслушивать под дверь. Но я и так провела слишком много времени под дверями.

И потому я всё равно открыла первое письмо.

*«Моя дорогая, моя любимая, моя жизнь»*

Я закрыла его. Не смогла. Это было слишком — эти слова, эта нежность, этот голос со страницы, который звучал так, как в нашем доме не звучал никто и никогда. Мне вдруг сделалось стыдно, будто я заглянула в чужую спальню и увидела то, чего не должна была.

Я взяла следующее письмо. И следующее. И ещё одно. Я не читала их, просто держала в руках, чувствуя, как бумага холодит пальцы. Почерк был неровным, но не небрежным, скорее взволнованным. Кое-где чернила расплывались. От воды? От слёз? Я не знала. А еще я заметила, что в некоторых местах буквы были глубже вдавлены в бумагу — там, где перо останавливалось, а рука продолжала думать. Я представила, как отправитель сидит при свече, сгорбившись над ли-

стом, и слова застревают в горле. Слова, которые он так и не сказал ей в лицо.

На одном из конвертов я заметила дату: «1818 год». За пару лет до моего рождения. Моей матери тогда было восемнадцать. И она уже любила. И её уже любили. Так, как меня — никогда.

Я положила письма на колени и долго сидела, глядя на них. В чердачной тишине, под мерцание свечи, они казались не просто бумагой, а настоящим мостом в прошлое, где моя мать еще умела быть живой и смеялась не для вида, ждала не из вежливости, хранила не по привычке, а по искреннему желанию и любви. Я подумала: хранить письма пятнадцать лет, это ведь тоже отчасти любовь. Не та, что заметна всем, не та, что строит дом и растит детей. Но тихая, упрямая и настоящая. Возможно даже более настоящая, чем та, первая.

Под письмами лежал портрет.

Я осторожно взяла его в руки. Молодой мужчина. Темные волосы, гладко зачесанные назад, словно он только что поправил их перед зеркалом. Светлые, почти прозрачные глаза так прямо смотрели прямо на меня, что я невольно отдернула взгляд. Но любопытство взяло верх и я снова их подняла, принявшись разглядывать незнакомца подробнее. На нем был темный сюртук, строгий, но не лишённый изящества. Такие сюртуки носят люди, которые одеваются не ради впечатления, а по внутренней необходимости.

Он улыбался, однако улыбка его была соткана из тени:

не радость, а лишь жалкая попытка ее изобразить. В чертах лица читалась хрупкость, но не телесная, а та, что залегает глубже, в самой душе. Тонкая линия губ, чуть напряженные скулы, взгляд, в котором таилась невысказанная боль. Я смотрела в его глаза, и мне казалось, что он смотрит на меня в ответ, но что-то в этом взгляде не совпадало с улыбкой. Словно две части его души говорили на разных языках, и одна пыталась заглушить другую.

Это было страшное чувство. Я знала, что он не может меня видеть. Его, возможно, уже не было в живых. Но его взгляд был таким прямым, таким внимательным, что я невольно выпрямила спину и одернула юбку. Сама не знаю, зачем. Наверное, из уважения. Глупо, конечно.

Он совсем не был похож на моего отца в молодости. Я вспомнила старую миниатюру из семейного альбома: отец там смеялся, запрокинув голову, его волосы были растрепаны ветром, а глаза искрились весельем. Он выглядел таким свободным и живым, будто весь мир принадлежал ему. Тот юноша на миниатюре, и этот на портрете, были как солнце и луна. Один светил наружу, другой — внутрь.

Я перевернула портрет.

*«Джон Торн. 1818»*

Я медленно перечитала имя несколько раз, словно пробуя его на вкус. Джон Торн. Это имя звучало как название места, в котором я никогда не была, но которое почему-то казалось знакомым. Джон Торн. Красивое имя. Оно подходило

его лицу, такому же строгому и печальному.

— Вот ты где!

Я вздрогнула и обернулась. В проеме люка стояла Мэри. Лицо у неё было встревоженное, но, увидев меня, оно смягчилось.

— Я тебя обыскала. Уже час, как ты здесь? — поинтересовалась она.

— Не знаю. — Я посмотрела на свечу, которая почти догорела. — Наверное.

Мэри оглядела чердак, сундук, письма в моих руках. Она ничего не спросила. За это я была ей благодарна больше, чем за что-либо ещё.

— Спускайся, — мягко приказала она. — Поздно уже. И холодно.

— Иду.

Она кивнула и уже повернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась.

— Ты похожа на неё, — сказала она тихо.

Я замерла.

— На маму?

— Нет. — Мэри посмотрела на портрет в моих руках. — На неё. На ту, какой она была до того, как вышла замуж. Ты не знала её такой. Но я знала. Я служила в их доме ещё до того, как она встретила твоего отца. Тогда она была другой.

Я хотела спросить: какой? Но слова застряли в горле. Я протянула руку, чтобы задержать её, но Мэри уже шагнула к

лестнице. Я поймала её за запястье.

— Какая она была?

Мэри помедлила. В её глазах мелькнуло что-то тёплое и болезненное одновременно.

— Живая, — сказала она. — Она смеялась так, что слышно было на всю улицу. И она умела слушать — по-настоящему. До того, как всё случилось.

— Что случилось?

Мэри посмотрела на меня долгим взглядом. Я видела, как она колеблется. Но потом она только покачала головой.

— Это не моя тайна, девочка. — Она коснулась моей щеки — легко, как мать никогда не касалась. — Когда она будет готова — скажет сама. А пока храни это. — Она кивнула на портрет. — Может быть, он скажет тебе больше, чем я.

Она выскользнула в проём. Пятая ступенька скрипнула громко, седьмая — почти беззвучно. Я осталась стоять в темнеющем чердаке, прижимая портрет к груди.

Осторожно, почти благоговейно, я свернула письма и спрятала их в карман юбки, стараясь не повредить хрупкие листы. А портрет Её я спрятала под блузку, у самого сердца. Он был прохладным, чуть шероховатым на ощупь, но мне казалось, будто он хранит в себе тепло чьих-то воспоминаний. Закрыла крышку опустевшего сундука и услышала, как петли снова застонали.

Спустившись вниз, я оказалась в привычной тишине дома. В гостиной, за приоткрытой дверью, сидела мать. Ее си-

луэт четко выделялся на фоне стены и она не обернулась, когда я прошла мимо: то ли не услышала, то ли сознательно проигнорировала. Скорее второе.

Улегшись на кровать, я закрыла глаза. Пыль всё ещё была на моих руках, и я чувствовала ее запах, когда вдыхала.

\*\*\*

Утро началось с голоса Уильяма.

Я проснулась рано, когда за окном ещё только серело, и сад тонул в пелене ноябрьского тумана: ни ветвей, ни изгороди не было видно — только серое марево, в котором растворялось всё, что когда-то имело форму. Портрет я пока спрятала под матрас, письма — под стопку белья в комод. Я не знала, зачем прячу их. Мне не запрещали быть на чердаке. Но что-то подсказывало: если мать узнает — заберет и я больше никогда их не увижу. А я уже знала, что не хочу их терять. Они стали моими — не по праву, а по какому-то другому закону, которого я пока не могла объяснить.

Голос Уильяма доносился снизу, из гостиной. Он что-то читал вслух, судя по ритму, стихи. И мать слушала. Я слышала её редкие реплики и интонацию, тёплую, одобрительную. «Да, мой дорогой». «Очень хорошо». «Прочти ещё раз».

Я лежала и слушала, как брат читает стихи из книги, уже другой, которую мать дарил ему на День рождения. Мои рождественские чулки, связанные Мэри, уже протерлись на пятках. Странно, но мне не было горько. Мне не было никак.

Я встала, умылась ледяной водой из кувшина (Мэри все-

гда ставила его с вечера, и к утру вода становилась такой холодной, что обжигала) и оделась. Портрет я достала из-под матраса и положила в карман юбки. Мне просто хотелось, чтобы он был рядом и я была спокойна, зная, что его не украдут.

За завтраком было тихо. Отец сидел с газетой — как всегда. Мать, не отрывая взгляда от окна, медленно помешивала ложечкой остывающий чай. Уильям ел тосты с джемом и время от времени поглядывал на меня с тем особым выражением превосходства, которое ни с чем не спутаешь. Я просто сидела, сжимая в пальцах холодную чашку, и думала о письмах.

— Ты плохо спала? — спросил отец.

Я подняла глаза. Он впервые за утро посмотрел на меня поверх газеты.

— Нормально. — соврала я.

— Ты бледная. — подметил отец.

— Это от ноября, — сказала я. — В ноябре все бледные.

Он помолчал, потом кивнул и вернулся к газете. Но перед этим я успела заметить в его глазах вопрос, который он не решался задать. Может быть, он знал, что я была на чердаке. Может быть, слышал скрип петель. Но он ничего не сказал. Как всегда.

Мать поставила чашку на блюде.

— Уильям, сегодня вечером мы идём к Симмонсам. Надень синий сюртук.

— Хорошо, мама.

Она не спросила меня, хочу ли я пойти. Может быть, потому что я никогда не хотела. А может быть, потому что ей было всё равно. Я так и не научилась отличать одно от другого.

\*\*\*

После завтрака я вышла в сад. Яблоня стояла голая, и ветер трепал ее ветви. Я села на скамейку, достала портрет и стала смотреть на него при дневном свете. Теперь я видела то, чего не заметила на чердаке при свече: у него была небольшая родинка над левой бровью. И в уголке рта пряталась едва заметная морщинка — не от возраста, а от привычки сдерживать улыбку. Интересно, он улыбался моей матери так же? Или она видела другую улыбку, ту, что не попала на портрет?

Сзади послышались шаги. Я быстро спрятала портрет в карман и обернулась. Это был отец. Он стоял в трёх шагах от меня, в пальто, накинутом на плечи, и смотрел на яблоню.

— Красивое дерево, — сказал он. — Твоя мать посадила его. Ещё до твоего рождения.

Я не знала этого.

— Она никогда не говорила.

— Она много чего не говорила. — Он помолчал. — Это не значит, что она не помнит.

Я смотрела на голые ветви. Ветер трепал их, и они скрипели, как старые половицы.

— Оно выросло выше меня, — сказала я.

— Да. — Он помолчал. — Деревья растут, даже когда на них не смотрят.

Я не нашлась что ответить. Он постоял ещё минуту, потом повернулся и пошёл обратно к дому. И в этом его уходе было что-то такое, от чего у меня сжалось горло. Я задумалась: может быть, он всегда знал причину, по которой Уильяму доставалось больше внимания. Знал и молчал. Может потому, что ему было всё равно. Или потому, что это было не его тайной.

А может быть, он говорил вовсе и не о деревьях.

## Глава III

*Где замечаю то, что раньше упускала*

После того дня на чердаке я не могла перестать думать о портрете. Я смотрела на лицо человека, который смотрел на меня в ответ с листа пожелтевшей бумаги, и мне казалось, что он знает что-то, чего не знаю я. Джон Торн. Я беззвучно, одними губами, повторяла это имя про себя и оно звучало как заклинание. В именах вообще есть странная власть. Они переживают людей, которым принадлежали, и остаются после них, как пустые рамы от картин.

Я спрятала письма и портрет под кроватью, в старой шка-тулке, которую никто не трогал уже много лет. Шкатулка была небольшая, из тёмного дерева, почти черного от времени. Когда-то она принадлежала бабушке — Амелии Браун. Она была портнихой и умела придавать старым вещам новую жизнь. На крышке ещё можно было разглядеть выцветший узор из фиалок, а по бокам шли тонкие линии, напоминающие стебли. Замок давно не работал, поэтому я просто прикрывала крышку, и она держалась благодаря старой резинке, обвязанной вокруг. Края были обрамлены узкой медной окантовкой, местами позеленевшей от возраста. Бабушка всегда говорила, что вещи хранят память о людях не хуже, чем портреты. Я провела пальцем по выцветшим фиалкам, ощущая едва заметные углубления резьбы, и подумала:

если мёртвая шкатулка может хранить память о бабушке, то сколько же воспоминаний таится в живых глазах? В глазах моей матери.

С того дня я начала наблюдать за ней.

Раньше я смотрела на неё, но не видела. Она была просто матерью, которая накрывает на стол, поправляет мне платье, говорит «не отставай» на улице и любит моего брата больше, чем меня. Теперь я смотрела на неё иначе. Я видела женщину, у которой есть прошлое.

В воображении снова и снова всплывал образ: молодая мама — лёгкая, смеющаяся, с распущенными каштановыми волосами, подхваченными ветром. Она кружилась по комнате, подхватывая Уильяма на руки, и ее смех звенел, как весенний ручей. Тогда она ещё не знала тяжести дней, не прятала глаза, сжимая губы в тонкую линию. Она была настоящим солнцем, которое теперь скрылось за тучами.

Я замечала, как она иногда останавливается у окна в гостиной. Не просто смотрит в сад, а смотрит так, будто ждет кого-то. Её руки, сложенные на груди, слегка дрожали в эти минуты. Глаза становились пустыми, но не мёртвыми — скорее отсутствующими, словно она видела что-то за окном, чего не видели другие. Я не подходила к ней в такие моменты. Просто стояла в дверях и смотрела. Один раз Уильям прошёл мимо меня в коридоре и, заметив, куда я смотрю, хмыкнул.

— Опять шпионишь? — поддразнил он меня.

— Я не шпионю.

— Ну да, ну да. — Он пожал плечами и пошёл дальше. Ему было всё равно. Ему вообще было всё равно, что я делаю, лишь бы только я не мешала ему читать его книги и получать поцелуи в висок.

Я замечала, как мать порой замирает у открытого шкафа, перебирая старые вещи. Как берёт в руки платок, некогда белоснежный, а теперь пожелтевший, словно осенний лист. Пальцы её ласково скользят по ткани, будто пытаются вернуть ей прежнюю чистоту. В эти мгновения её лицо меняется: черты смягчаются, взгляд уходит вдаль, в мир, куда мне нет доступа.

Всё чаще я подмечала и мелочи, прежде ускользавшие от моего внимания. Она задерживает дыхание, проходя мимо лестницы на чердак, будто боится потревожить что-то спящее наверху. И чем внимательнее я наблюдаю, тем сильнее чувствую: эта тайна не просто где-то рядом. Она живёт в каждом её жесте, в каждой паузе, в каждом взгляде, уплывающем в далёкие края.

Однажды за этим занятием меня заметила и Мэри. Я снова стояла в дверях гостиной и смотрела, как мать перебирает какие-то старые ленты в ящике комода. Служанка прошла мимо с корзиной белья, остановилась, перевела взгляд с меня на мать и обратно.

— Ты что, весь день так и стоишь? — спросила она шёпотом.

— Нет, — соврала я.

Она покачала головой, но ничего не сказала. Только поправила корзину на бедре и пошла дальше.

Теперь я подметила, как порой мать смотрит на свое обручальное кольцо. Оно блестит тускло от времени. Словно кольцо стало всего лишь символом, потерявшим свою силу. Она не снимала его, но и не смотрела на него так, как смотрят на то, что дорого.

Однажды вечером я сидела в гостиной с книгой. Я не читала, втихаря смотря на мать, которая сидела в своём кресле и вязала. Уильям был тут же, он лежал на ковре перед камином и снова читал вслух какие-то стихи. Его голос звучал ровно, мелодично, и мать время от времени кивала в такт. Спицы двигались в её руках быстро — механически, как ход часов, — но я заметила, что она смотрит не на вязание. Она смотрела в окно, на яблоню, которая стояла сухой и голой.

— Мама, — окликнула ее я.

Уильям перестал читать. Наступила неожиданная тишина, как будто кто-то задул свечу.

— Да, — ответила мать, не поворачивая головы.

— Кто такой Джон Торн?

Спица замерла. Уильям поднял голову от книги и уставился на меня. Не с насмешкой, а с каким-то странным, незнакомым мне до этого выражением его лица. То было любопытство? Тревога? Я не могла понять.

— Откуда ты знаешь это имя? — спросила мать. Голос

был тихим, почти беззвучным, но довольно взволнованным.

— Я нашла его на чердаке. Письма. И портрет. — Честно призналась я.

Она медленно опустила вязание на колени и повернулась ко мне. Я увидела её лицо, которое сделалось бледным, почти прозрачным. Но главное было в глазах: там застыла глубокая, изматывающая усталость, будто она несла на плечах груз долгих лет, который больше не получалось утаивать.

— Ты не должна была их видеть, — сказала она.

— Почему?

— Потому что это моя жизнь. — Она смотрела прямо на меня, и я чувствовала, как каждое слово падает между нами холодным камнем. — И я не хочу, чтобы ты копалась в ней.

Уильям переводил взгляд с матери на меня и обратно. Он явно не понимал, о чём речь, но впервые в жизни не спешил вставлять своё замечание.

— Я не копаюсь. — Я сглотнула. — Я хочу понять.

— Понять что?

— Почему ты никогда не смеешься.

Она смотрела на меня, и я видела, как её лицо меняется: словно каменная маска трескается, обнажая что-то настоящее. На мгновение она показалась мне почти хрупкой — такой, какой была та девушка с портрета, ещё не успевшая превратиться в тень, бесшумно двигавшуюся по дому.

— Я смеялась, — сказала она вдруг, и взгляд её стал отстраненным. — Когда-то давно.

— Когда? — Я наклонилась чуть ближе.

— Пока он был здесь. — Она провела рукой по вязанию, будто разглаживая невидимые складки. — Рядом.

— Кто он? — Это спросила не я. Это спросил Уильям.

Я обернулась. Он сидел на ковре, забыв о книге, и смотрел на мать с тем же напряжением, что и я. Впервые в жизни мы смотрели на неё одинаково.

— Тот, кого я любила, — сказала она. — Тот, кто однажды ушёл и не вернулся.

— Почему он ушёл? — спросила я.

Она замерла. Пальцы, до этого спокойно лежавшие на вязании, вдруг сжались, скомкав пряжу. Она молчала, будто решая, стоит ли отвечать.

Я придвинулась ещё ближе и сказала:

— Мама, расскажи мне о нём. Расскажи, как вы встретились. Каким он был, когда ты его впервые увидела? Что в нем заставило тебя влюбиться?

Уильям, я заметила краем глаза, не отводил от неё взгляда.

Ее лицо смягчилось. Что-то в ней открылось — не до конца, но достаточно, чтобы я увидела.

— Я встретила его, когда мне было восемнадцать. — Голос её стал тихим, почти напевным. — Он был сыном владельца соседнего поместья. Мы любили друг друга. Он хотел на мне жениться.

Я слушала, затаив дыхание, а взгляд невольно устремился

в окно — туда, где за лесом едва проступали очертания высоких башен. *Эшвуд-Холл*. Так называлось соседнее поместье. Даже отсюда оно выглядело величественным: массивные каменные стены, стрельчатые окна, черепичная крыша, отливающая медью в лучах заката. Оно словно заявляло о себе — гордо, непреклонно, напоминая о вековых традициях и незыблемости рода.

Наш дом, *Ивовая усадьба*, стоял на пологом холме у самого края города. Раньше я видела в нём только следы упадка: темный песчаник, покрытый мхом, растрескавшиеся ступени крыльца, сад, который никто не приводил в порядок. Но теперь, глядя на него новыми глазами, я замечала то, что прежде ускользало. Стены, увитые диким виноградом, все еще хранили тепло летних дней. Резные перила крыльца, хоть и обветшали, хранили изящество старинной работы. А старая яблоня во дворе, которую я считала мертвой, по весне выпустила несколько свежих побегов у основания ствола.

— Почему же вы не поженились? — поинтересовалась я.

— Его отец был против. Он считал, что я недостаточно хороша. Джон уехал в Лондон, сказав, что вернётся. Я ждала его два года. Потом перестали приходить письма и я встретила твоего отца.

Она замолчала. Я видела, как её плечи дрожат, как она сжимает край кресла. Мне хотелось подойти к ней, но я не была Уильямом и не могла утешить ее так, чтобы она это приняла.

И тут Уильям встал. Он подошёл к матери и опустился на колени у ее кресла. Он не обнял её. Не поцеловал в висок. Просто положил руку на подлокотник, рядом с ее пальцами, и остался так сидеть.

Мать не убрала руку и не отодвинулась. Она сидела, глядя куда-то мимо него, мимо меня, мимо стен этого дома, — и молчала.

— Я вышла замуж за твоего отца, — продолжила она, и голос ее смягчился. — И знаешь, я никогда не жалела об этом. Твой отец — достойный человек. В молодости он был таким энергичным, полным идей. Он мечтал открыть свою мастерскую. И открыл. Сейчас он управляет небольшой, но уважаемой столярной мастерской на окраине города. Каждое утро он уходит туда, как на праздник. Он умеет видеть красоту в дереве, чувствовать его текстуру, понимать, какой формы должна быть каждая деталь.

— Ты его полюбила? — спросила я.

Она помолчала.

— Не так, как Джона. Но я его уважала. И со временем научилась ценить то, что он дал мне: стабильность, дом, тебя. Он никогда не упрекал меня ни в чём, хотя, думаю, догадывался, что моё сердце хранит воспоминания о другом.

— А ты всё ещё любишь его? — спросила я, имея в виду Джона.

Она не ответила. Медленно встала, словно каждое движение давалось ей с трудом, и вышла из комнаты. Уильям

остался на коленях у пустого кресла. Я видела, как он смотрит на скомканное вязание, на упавшую спицу, и на дверь, за которой скрылась мать.

Я наклонилась, подняла спицу и положила её на вязание.

— Спокойной ночи, — сказала я.

— Спокойной ночи, — ответил он. Впервые без насмешки.

\*\*\*

Утром я спустилась вниз. Мать стояла у плиты. Мэри накрывала на стол. Она как раз ставила тарелку с хлебом и маслом на место отца. Уильям уже сидел за столом. Он не читал книгу. Просто сидел и смотрел в свою чашку с чаем. Увидев меня, он не сказал ни слова — только кивнул. Я села напротив.

— Садись, — сказала мать, не оборачиваясь. — Каша на столе.

Я села. Каша была холодной. Я взяла ложку и поднесла ко рту. Замешкавшись, положила ложку обратно. Аппетита не было, и я заметила, что Уильям тоже не ел. Он размеренно помешивал сахар в чае — методично, уже минуты три.

Мэри прошла мимо с пустой корзиной и на мгновение задержалась у стола.

— Вы сегодня не голодные, — заметила она. Это был не вопрос.

— Нет, — сказала я.

— Нет, — сказал Уильям.

Мы переглянулись. Мэри перевела взгляд с меня на него и обратно. Потом пожала плечами и вышла.

\*\*\*

Ночью я лежала на кровати, глядя в потолок. Мысли крутились вокруг слов матери. Она ждала человека, который не вернулся. Любила его — глубоко, тайно, годами. И никогда не говорила нам об этом вслух. До вчерашнего вечера.

Я вспомнила, как она говорила об отце: с уважением, с тихой признательностью за его труд, за молчаливую поддержку, за то, что он просто был рядом. Два мужчины. Две истории. Одна была открыта, другая — спрятанная глубоко внутри от посторонних глаз и мыслей. И обе сформировали ту женщину, которую я знала, или думала, что знала.

Я встала и подошла к шкапулке. Портрет лежал сверху. Я взяла его в руки и долго смотрела в лицо Джона Торна.

— Кто ты? — прошептала я в тишину.

Портрет молчал.

По мере ночных размышлений во мне постепенно зарождалось одно чувство: я обязана узнать правду. Не из любопытства и не ради пустых разговоров. Эта правда была моей по праву рождения, даже если её упрятали подальше задолго до того, как я появилась на свет.

## Глава IV

*Тишина не всегда означает покой*

После того разговора мысли о матери не отпускали меня. Я снова и снова видела её в кресле, со взглядом, устремленным в окно, будто там, в глубине сада, было что-то, недоступное мне. Слова «я ждала его два года» звучали в голове снова и снова, как эхо в пустом зале. Я представляла её молодой — такой, какой видела на старых миниатюрах<sup>1</sup>. Вот она встаёт по утрам, готовит завтрак, вежливо кивает знакомым. И никто не догадывается, что внутри неё, размеренно и неустанно, как маятник, качается: «А вдруг он вернётся?». Сколько лет она носила в себе эту надежду? И что почувствовала, когда поняла наконец: не вернётся?

Читатель, я знаю, что ты можешь счесть меня слишком настойчивой. Возможно, ты окажешься прав. Но я не могла иначе: тишина, которая окружала меня с детства, перестала быть просто тишиной — она стала стеной между тем, что я знала о себе и мире ранее, и тем, что могла открыть для себя сейчас. Это желание нельзя назвать благородным. Оно было простым, как голод.

Я продолжала наблюдать за матерью. Уильям, кажется, то-

---

<sup>1</sup> Портретные миниатюры — небольшие живописные изображения, которые создавали как личные, интимные подарки, для ношения в медальонах, в часах или как памятные сувениры.

же стал внимательнее: я всё чаще замечала, как он задерживает на ней взгляд и хмурится, когда она особенно долго стоит у окна. Мы не говорили об этом. Мы вообще редко говорили друг с другом, но теперь между нами появилось нечто новое — общее знание. Мы оба видели: с матерью что-то не так. И оба не знали, что с этим делать.

В пятницу вечером я проснулась от странного звука.

Сперва решила — ветер. Он шумел за окном, ветви старой яблони царапали стекло, и этот звук, знакомый с детства, давно стал почти успокаивающим. Но теперь к нему примешивалось что-то ещё — тихое и прерывистое. Так плачут, когда пытаются удержать слёзы внутри. Я села на кровати, затаив дыхание. Тишина. Потом снова — сдавленный всхлип, будто его заглушили подушкой.

Я встала. Половица под ногой скрипнула — седьмая, почти бесшумная. Коридор тонул во мраке. Дверь в комнату Уильяма была закрыта, из комнаты Мэри не доносилось ни звука. Дом спал. И только из-под двери матери пробивалась тонкая полоска света.

Я подошла ближе. Дверь была приоткрыта. Сколько себя помню, мать никогда не оставляла дверь приоткрытой. Я осторожно заглянула внутрь.

Она сидела на кровати, держа в руках какую-то бумагу. То было не письмо, не рисунок, а что-то маленькое, чего я не могла разглядеть. Свеча на тумбочке догорала, и в дрожащем свете лицо матери казалось почти незнакомым. Не

бледным и спокойным, как всегда, — а мучительно живым. По этому лицу текли слёзы. Она плакала беззвучно, словно разучилась плакать иначе. Так плачут люди, которые годами прячут боль не только от посторонних, но и от самих себя.

— Джон, — прошептала она. Я скорее угадала имя по губам, чем услышала. — Я всё ещё помню тебя.

Я замерла. Никогда прежде я не видела её такой. Мне захотелось войти, сесть рядом, обнять — но я осталась в дверях. Знала: не примет. Снова наденет маску, отошлёт в комнату, а наутро наградит холодным, осуждающим взглядом.

Я отступила в темноту коридора. Вернулась к себе, села на кровать и долго смотрела в стену. Мысль была одна: мать плакала по человеку, которого любила. Всё ещё любила. И всё ещё ждала. И ни разу. Ни разу! За тринадцать лет не говорила мне об этом.

Сон не шёл до самого утра.

\*\*\*

За завтраком мать была такой же, как всегда. Если вы когда-нибудь жили с человеком, который носит маску, то поймете это чувство: вы смотрите на него и не можете понять, куда делось то живое лицо, которое мельком проявилось накануне. Оно просто исчезло.

Мать сидела на своём месте и помешивала чай, не глядя на отца. Лицо ее было бледное, но без следов слёз. Мэри подавала хлеб и масло. Поставив тарелку на привычное место перед отцом, бросила на меня короткий взгляд и чуть при-

подняла бровь. Я едва заметно кивнула. Уильям сидел напротив и молча ел кашу. Он, как и я, поглядывал на мать, но ничего не спрашивал.

Отец сел напротив и принялся аккуратно намазывать масло на хлеб. Его движения были размеренными, почти ритуальными — он всегда делал всё именно так, без суеты и спешки. Он не спросил мать, хорошо ли она спала. Не спросил и почему она молчит. Лишь предложил:

— Дорогая, ты выглядишь уставшей. Может, сегодня останешься дома? Я сам схожу на рынок.

— Всё в порядке. — Она не подняла глаз. — Просто не выспалась.

— Если что — я рядом.

Он сказал это так просто, что у меня защемило сердце. В тот миг я впервые по-настоящему увидела своего отца. Не человека, который тринадцать лет прятался за газетой и молчал, боясь потревожить, — а того, кто знал. Всё знал. И всё равно оставался рядом.

Мать ничего не ответила. Поднесла чашку к губам, и я заметила, как дрожат её пальцы. На тыльной стороне ладони проступила тонкая вена — такая же, как у меня. Мы были похожи больше, чем я думала.

Уильям поднялся первым.

— Я пройду, — сказал он.

Никто не ответил. Брат помедлил, будто ожидая чего-то, затем повернулся и вышел. Я смотрела ему вслед: он тоже

заметил.

Отец поднял голову и посмотрел в окно.

— Хороший день сегодня. Видишь, Лизз? Яблони цветут. Скоро всё оживёт.

За окном и правда цвели яблони. Белые лепестки дрожали на ветру, и сад казался присыпанным снегом. Но перед глазами у меня всё ещё стояла прошлая ночь: полоска света под дверью и лицо матери, залитое слезами.

После завтрака я вышла в сад.

Под старой яблоней, у самой скамьи, белело что-то на траве. Я наклонилась и подняла льняной платок — простой, без кружев, с вышитыми в уголке инициалами «М.Т.». Маргарет Торн. Должно быть, мать обронила его накануне вечером. Платок был влажным от росы и пах лавандой — тем самым запахом, что хранился в шкатулке с письмами. Я стояла, сжимая находку в пальцах, и не могла отвести глаз от вышивки. Казалось, сама земля под яблоней хранила следы её бессонных шагов.

Я спрятала платок в карман и пошла к дому. За спиной шумел ветер, лепестки срывались с ветвей и кружились в воздухе, а я думала о том, что сегодня снова не смогу смотреть матери в глаза.

\*\*\*

К вечеру я лежала на кровати, разглядывая трещины на потолке. Внизу скрипнула половица — легко, не по-человечески. Должно быть, серая бродяжка с крыльца. Такая же,

как я: одна в огромном доме, не может найти покоя. За окном шумел ветер, ветки царапали стекло.

Я поднялась, накинула халат и подошла к окну. Луна едва пробивалась сквозь рваные облака, бросая бледные пятна на дорожку сада. Старая яблоня тянула ветви к небу — пробуждающееся дерево, готовое вот-вот распустить крону.

За стеной послышались шаги матери. Размеренные, тихие — я знала их всю жизнь, но только теперь начала по-настоящему слышать. В них появилась тяжесть, новый, подспудный ритм. Усталость? А может быть, поиск? Я вслушивалась, пытаюсь уловить в каждом шаге ответ на вопрос, который ещё не успела задать.

Как вообще живут люди с такими тайнами? Где находят силы улыбаться, заботиться о других, когда внутри всё ещё кровоточит? Я тогда впервые задумалась об этом по-настоящему.

Когда я вернулась в постель, шаги за стеной стихли. Но их отсутствие не принесло облегчения. Вопросы стучали в голове один за другим, как капли дождя в стекло. Что ещё скрывала мать? Почему её шаги звучали так, будто она что-то ищет? И что за тень промелькнула в её взгляде накануне у окна?

Я перевернулась на бок и уткнулась лицом в подушку. Завтра. Завтра я начну искать ответы.

## Глава V

На следующее утро я вышла из дома рано. Мать ещё не проснулась, отец ни свет ни заря ушёл в мастерскую, Мэри гремела посудой на кухне. Уильям сидел на крыльце с книгой — он поднял голову, когда я прошла мимо, но ничего не спросил. А я и не стала бы объяснять.

Я шла к церкви — не молиться. Накануне вечером, вертя в пальцах платок с инициалами «М.Т.», я вдруг вспомнила: отец Моррисон венчал мать. Он знал её молодой. Возможно, знал и то, о чём она молчала все эти годы.

В церкви было пусто. Воздух, густой от ладана и старого дерева, стоял неподвижно — казалось, он впитал в себя десятилетия молитв и тишины. Свет, проходя сквозь витражи, дробился на каменном полу цветными осколками. Ряды тёмных скамей вели к алтарю, за которым мерцали потухшие свечи. Лики святых смотрели со стен строго, но без укоризны. В углу, у колонны, стояла каменная купель, покрытая каплями влаги.

Я оперлась о спинку скамьи — садиться не хотелось. Тишина здесь была иной, чем дома: не давящей, а обволакивающей. Где-то далеко тикали часы.

Отец Моррисон вышел через несколько минут. Он опирался на трость, и руки его заметно подрагивали — не от слабости, а от той тихой усталости, что приходит с годами.

Лицо его, изрезанное морщинами, напоминало старую карту, на которой отмечены все пройденные дороги. Светлоголубые, чуть выцветшие глаза смотрели с выражением, какое бывает у людей, привыкших выслушивать чужие беды.

Я хорошо его знала. Он крестил меня, учил первым молитвам, утешал, когда я ребёнком плакала из-за разбитой колёнки. Помню, как пряталась за его рясу во время грозы, а он гладил меня по голове и говорил: «Не бойся, Лизз. Господь с нами». Теперь, глядя на него, я снова почувствовала себя той маленькой девочкой.

Он заметил меня и улыбнулся:

— Лизз. Ты выглядишь встревоженной. Что случилось?

Я хотела рассказать обо всём сразу: о странных шагах матери по ночам, о портрете с надписью «Джон Торн. 1818», о платке, пахнущем лавандой. Но слова застряли в горле.

— Просто... я перестала понимать матушку.

Отец Моррисон кивнул — так, будто ждал этих слов.

— Господь не всегда открывает нам истину разом, — сказал он. — Иной раз мы видим лишь малую часть картины. Молись, дитя, и Он укажет путь.

Он положил руку мне на плечо. Прикосновение было лёгким, почти невесомым, но от него разжалось что-то внутри — то, что было стиснуто последние дни.

— Отец Моррисон, — я набрала воздуха, — вы венчали мою мать. Вы знали её до замужества?

— Знал. — Он опёрся на трость обеими руками. — Я слу-

жил в этом приходе ещё до того, как она появилась здесь.

— Какой она была тогда?

Он помолчал, глядя на витражное окно, будто в цветных стёклах можно было разглядеть прошлое.

— Словно весенний день, — произнёс он наконец. — Лёгкая, светлая. В глазах — огонёк, который ветром не задуть.

Я закрыла глаза, пытаюсь представить мать такой, и не смогла.

— А до замужества... — Я помедлила. — Был ли кто-то ещё? Человек по имени Джон Торн?

Отец Моррисон перестал улыбаться. Он долго смотрел на меня, потом вздохнул и указал на скамью:

— Присядь, дитя.

Я села. Сердце билось у самого горла. Он опустил рядом, сложил руки на набалдашнике трости. Рядом на скамье лежала старая подзорная труба — должно быть, он рассматривал в неё звёзды или птиц. Я машинально отметила это, пытаюсь отвлечься от волнения.

— Джон Торн, — начал он, — был достойным человеком. Любил твою мать всем сердцем.

— Почему же они не поженились?

— Его отец воспротивился. Пригрозил лишить наследства. Джон решил уехать в Лондон, поправить своё положение и вернуться за невестой. — Он сделал паузу. — Но не вернулся.

— Что с ним случилось?

— Этого я не знаю. Ходили разные слухи, но я не стану повторять того, в чём не уверен. — Он посмотрел на меня внимательно. — Если хочешь узнать больше, поговори с Агнессой. Она служила в доме Торнов, когда была молодой. Возможно, ей известно то, чего не знаю я.

— Где мне найти её?

— В Эшвуд-Холле. Она живёт во флигеле у западной стены. — Он помедлил. — Скажи, что я послал тебя. Агнесса недоверчива к чужим.

Я встала. Он поднялся следом и снова положил руку мне на плечо.

— Помни, Лизз. Правда может ранить. Но Господь не даёт нам испытаний, которых мы не в силах вынести. Если ты готова — я буду молиться за тебя.

Он перекрестил меня, и я вышла из церкви.

\*\*\*

К Агнессе я отправилась в тот же день.

Эшвуд-Холл стоял на холме — массивные каменные стены, стрельчатые окна, черепичная крыша, отливающая медью в закатном свете. Строгий, величественный, он походил на часового, охраняющего покой поколений. Мне указали на флигель<sup>1</sup> у западной стены — когда-то его построили для старшего садовника, но теперь там жила Агнесса.

Домик выглядел так, будто время забыло о нём. Покосив-

---

<sup>1</sup> Флигель — вспомогательная пристройка к жилому или нежилому дому либо отдельно стоящая второстепенная постройка.

шийся забор едва держался на ржавых петлях, огород зарос сорняками, среди которых сиротливо пробивались одичавшие цветы. Крыша просела, ставни потрескались, а дверь, когда-то зелёная, облупилась до серого дерева.

Я постучала. Через несколько мгновений дверь отворилась. На пороге стояла пожилая женщина с седыми волосами, стянутыми в аккуратный пучок. Она вытирала руки о передник и смотрела на меня не враждебно — скорее оценивающе, как смотрят на незнакомца, явившегося без предупреждения.

— Вы Агнесса? Меня зовут Лизз. Отец Моррисон сказал, что вы можете мне помочь. Моя мать — Маргарет Асквит.

Она замерла. Взгляд скользнул по моему лицу — по глазам, по скулам, по линии подбородка. Я видела, как в ней борются два чувства: желание закрыть дверь и что-то другое, более старое и сильное.

— Маргарет Асквит, — повторила она медленно, будто пробуя имя на вкус. — Значит, ты её дочь. — Она отступила в сторону. — Входи.

В доме было тепло. В камине тлели угли, пахло хлебом, дымом и сушёными травами. Агнесса села на стул у огня, указала мне на второй.

— Так что же привело тебя?

— Джон Торн, — сказала я, опускаясь на стул. — Вы знали его. Вы служили в его доме.

Она долго смотрела на меня, будто взвешивала каждое

слово, прежде чем выпустить его наружу. Потом опустила взгляд на свои руки — узловатые, в старых шрамах от горячей посуды.

— Знала, — проговорила она тихо. — Он был сыном хозяина. Тихий, вежливый. Не из тех, кто кричит на прислугу.

Я подалась вперёд:

— А моя мать? Она бывала в Эшвуде. Вы её видели?

Агнесса помолчала, глядя в огонь.

— Видела. Она приходила по средам. Всегда ровно в три. И всегда останавливалась у старого дуба, будто ждала кого-то.

— Кого?

— Не мне об этом судить, девочка. Но дуб тот многое помнит. Листья его шелестели так, будто перешёптывались о чужих секретах.

Я не отвела взгляда.

— Я нашла письма. И портрет. На обороте написано: «Джон Торн. 1818».

Пальцы Агнессы, сжимавшие край фартука, побелели. Она смотрела в огонь.

— Значит, нашла, — сказала она глухо. — А я-то думала, эти вещи навсегда останутся в темноте.

Я подалась вперёд, но голос постаралась удержать ровным — насколько могла:

— Расскажите мне всё. Прошу вас.

Агнесса долго молчала. Потом подняла на меня глаза —

тяжёлые, будто она разом прожила все эти годы заново.

— Твоя мать приходила сюда по средам. Ровно в три. — Голос её звучал размеренно, как заученный урок. — Встречались в саду, под старым дубом. Я из кухонного окна видела. Она смеялась — я потом никогда больше такого смеха не слышала. А он... — Она запнулась. — Он глаз с неё не сводил.

У меня перехватило дыхание.

— Почему же они не поженились?

Агнесса горько усмехнулась — в этой усмешке не было и тени веселья.

— Старый хозяин не позволил. Сказал, что она ему не ровня. Джон пытался спорить, но отец поставил ультиматум: или она, или наследство. Джон выбрал её. Сказал, что уедет в Лондон, добьётся независимости и вернётся. — Она покачала головой. — Мы все ждали. Он писал ей каждый месяц. А потом письма прекратились.

— Что случилось?

— Не знаю. — Она развела руками. — Он уехал, и больше я о нём не слышала. Но перед самым отъездом он дал мне адрес. На случай, если понадобится с ним связаться. — Агнесса помедлила и добавила тише: — Я дала слово, что сохраню его. И сохранила.

Я смотрела на неё, чувствуя, как дрожат руки.

— У вас всё ещё есть этот адрес?

Агнесса долго и пристально смотрела на меня. Потом мед-

ленно встала, опираясь на спинку стула, и подошла к старому шкафу у стены. Дверца скрипнула. Порывшись среди тряпок и коробок, она достала пожелтевший конверт. Чернила выцвели до бледно-коричневого, края потрескались.

— Это всё, что у меня есть, — сказала она, протягивая его мне. — Я не писала. И не знаю, жив ли он теперь.

Я взяла конверт. Бумага была шероховатой и хрупкой, как засушенный лист. Развернула. На листке значилось:

«Джону Торну. Лондон. Улица Грейт-Портленд, 47».

Я спрятала конверт в карман платья.

— Спасибо вам, — сказала я. — За то, что сохранили.

Она кивнула — коротко, сухо, и отвернулась к огню.

— Будь осторожна, дитя.

Я попрощалась и вышла. Солнце уже садилось за Эшвуд-Холл, длинные тени ложились на дорогу. Я сжимала конверт в кармане и шла домой медленно — ноги вдруг стали ватными.

## Глава VI

*В которой я пишу письмо в Лондон*

Я спрятала конверт в шкатулку — ту самую, что когда-то подарила мне бабушка. Внутри уже лежали пожелтевшие письма и портрет молодого Джона Торна. Я провела пальцем по выцветшей росписи с цветами.

Странная вещь — память. Годами лежит на дне старого сундука и молчит, а потом вдруг начинает говорить, и её уже не остановить. Я не знала, зачем храню все эти бумаги. Но выбросить их не могла — как не может человек выбросить ключ, даже если забыл, от какой он двери.

\*\*\*

Прошло несколько дней. Я ходила по дому, делала привычные дела, но внутри что-то сдвинулось. Прежде мои занятия были просто частью распорядка, а теперь каждое казалось наполненным смыслом — будто кто-то протёр заплённое стекло.

По утрам я, как всегда, помогала Мэри на кухне. Она ворчала, что я только мешаю, но я видела, как она улыбается краешком рта, когда я ловко нарезаю зелень или аккуратно протираю стол. Мэри была из тех людей, которые ворчат по привычке, а любят по велению сердца.

— Лизз, детка, — говорила она, помешивая кашу, — оставь ты это дело. Иди погуляй, пока погода хорошая.

— Мне нравится помогать. К тому же ты одна со всем хозяйством не справишься.

— О, не управлюсь? — Она упёрла руки в бока. — Я, между прочим, тридцать лет здесь хозяйство веду, и дом ещё не рухнул. Хотя, видит Бог, старался.

Я рассмеялась. Мэри была едва ли не единственным человеком в доме, с кем можно было смеяться без чувства вины.

После завтрака я шла в библиотеку — привести в порядок книги, вытереть пыль с полок. Высокие шкафы до потолка, лестница на колёсиках, старинные глобусы, карты на стенах... Если рай существует, в нём непременно должна быть библиотека. Отец считал, что девушке важно знать мир за пределами поместья, и не жалел денег на книги, хотя в остальном мы жили скромно. Я подозревала, что книги заменяли ему разговоры. Возможно, он надеялся, что они заменят их и нам.

Каждое утро начиналось с пятнадцати минут латыни. Я выбирала том наугад и переводила несколько абзацев вслух. Латынь — удивительный язык: мёртвый, а всё ещё требует внимания. Этим он напоминает прошлое.

Затем я переходила к книгам о путешествиях. Иногда задерживалась у карты, висевшей на стене, и проводила пальцем по контурам Англии, мысленно прокладывая маршрут до Лондона. Грейт-Портленд, 47... Адрес казался таким реальным на бумаге Агнессы, но здесь, на карте, он растворялся в десятках других улиц. Карты вообще мастерицы скры-

вать то, что ищешь. Они показывают берега, но не течения; города, но не людей.

Мэри, закончив со сменой белья, заглядывала в дверь:

— Ну что, мисс Лиззи, нашли какую-нибудь старинную тайну?

— Пока нет, но я не теряю надежды.

— Надежда — хорошая вещь. — Она подмигнула. — Но ужин в семь, и миссис Асквит не одобрит, если вы променяете жаркое на свои учёности.

«Мои учёности» — так она называла моё сидение в библиотеке. В её устах это звучало почти как приговор.

\*\*\*

Однажды днём к нам зашла миссис Крофт — вдова, жившая через дорогу. Много лет она провела в Индии, а после смерти мужа вернулась в Англию и поселилась в нашем тихом Норфолке. Она была из тех людей, что входят в дом и сразу заполняют его собой — не из нахальства, а из той особой энергии, какая бывает у тех, кто пережил слишком много, чтобы тратить время на церемонии.

— Маргарет, дорогая! — провозгласила она с порога, и голос её разнёсся по всему дому. — Ты совсем не выходишь, а я уже третий день варю варенье и почти не вижу людей. Ещё немного — и я заговорю с кошкой, а она мне ответит. Тогда меня точно упекут в Бедлам.

Мать — о чудо! — почти улыбнулась:

— Проходи, Элинора. Я поставлю чай.

Через несколько минут мы сидели в гостиной. Миссис Крофт водрузила на стол банку варенья из крыжовника с таким видом, будто это была королевская печать. При ней мать становилась чуть живее — не веселее, но менее отстранённой. Может быть, потому, что миссис Крофт не задавала вопросов. Она просто много говорила — о погоде, о саде, о своих розах — и не требовала от собеседника ответа.

— Представьте: выхожу утром в сад, а мой лучший куст обглодан до последнего листика. Оленёнок, не иначе. Я за ним бегала в ночной рубашке с метлой наперевес. Если бы кто увидел — решил бы, что старая Крофт окончательно спятила.

Я рассмеялась, представив эту картину.

— И что же оленёнок?

— Убежал, конечно. — Она махнула рукой. — Они всегда убегают. В этом их природа. — Она вдруг посмотрела на меня внимательно. — А ты, Лизз, всё хорошеешь. Скоро совсем взрослая станешь. Небось уже о Лондоне мечтаешь?

Я вздрогнула:

— Почему вы так решили?

— Все молодые девушки мечтают о Лондоне. Я сама когда-то мечтала. Но судьба занесла меня в Индию. — Она на миг задумалась. — Лондон — он особенный. Шумный, грязный, вечно спешащий. Но есть в нём что-то притягательное. Как в старом друге, которого ты не видел много лет и уже не уверен, рад ли встрече.

Мать сидела неподвижно, глядя в свою чашку. Я заметила, как побелели костяшки её пальцев.

— А вы не встречали там человека по имени Джон Торн?  
— спросила я, не успев подумать. Слова сорвались прежде, чем я поняла, что делаю.

Миссис Крофт нахмурилась:

— Торн?.. Нет, не припомню. — Она покачала головой.  
— А кто это?

— Никто, — быстро сказала я. — Знакомый моего отца.

Мать ничего не сказала. Лишь поднесла чашку к губам, и я увидела, как дрожат её пальцы. Миссис Крофт, кажется, ничего не заметила: она уже рассказывала, как её покойный муж встретил в Дели махараджу на белом слоне и принял его за торговца пряностями.

— И что же магараджа? — спросила я.

— О, он оказался джентльменом. Показал дорогу и пригласил на чай. Правда, чашки были золотые, и я потом неделю боялась, что муж решит, будто нам тоже нужны золотые чашки. К счастью, он ограничился серебряными ложками.

Когда миссис Крофт ушла, мать долго сидела молча. Потом встала, подошла к окну и замерла там.

— Ты не должна была спрашивать о нём при чужих, — сказала она тихо.

— Прости, мама.

Она не ответила. Я смотрела на её прямую спину и чувствовала, как между нами снова вырастает невидимая стена.

\*\*\*

Уильям сидел на скамейке у дома с книгой. Он поднял голову, когда я прошла мимо.

— Ты сегодня какая-то загадочная, — заметил он. — Будто знаешь что-то, чего не знаю я.

Я остановилась:

— Может быть, и знаю.

— О, разумеется. — Хмыкнул он. — Если ты что-то замышляешь, будь добра предупредить. Мне нужно будет подготовить речь для матери: «Лизз опять что-то натворила, но я совершенно ни при чём».

Я посмотрела на него. Он сидел развалившись, но в глазах была не насмешка — искреннее любопытство.

— Ты не скажешь ей ничего.

— Почему ты так уверена?

— Потому что тебе самому интересно, что из этого выйдет.

Он помолчал, а затем почти незаметно кивнул:

— Ладно. Но если что — я ничего не знал.

— Договорились.

\*\*\*

Вечером я лежала на кровати и слушала, как тикают часы. Тик-так. Тик-так. Звук, сопровождавший меня с рождения, — ровный, бесстрастный, словно сердце самого дома.

Я села, спустила ноги на холодный пол и посидела так, прислушиваясь к себе. Потом медленно встала и подошла к

столу. Пальцы сами потянулись к перу.

«Уважаемый мистер Торн,

Я пишу вам, потому что нашла ваши письма к моей матери. Её зовут Маргарет. Я знаю, что она ждала вас. Я хочу знать, почему вы не вернулись.

Она всё ещё помнит. Если вы живы, пожалуйста, дайте ей знать.

С уважением,

Лизз Асквит»

Я перечитала написанное. Слова вышли простые, но, как говорила Мэри, «прямые слова — самые крепкие, они не гнутся под тяжестью». Я сложила лист, запечатала в конверт и переписала адрес — чётко, буква за буквой: «Лондон. Улица Грейт-Портленд, 47».

\*\*\*

Утром я отправилась на почту. Внутри пахло сургучом<sup>3</sup> и старой бумагой. За стойкой стоял почтмейстер — высокий, сутулый, с залысинами и в очках на кончике носа.

— Мне нужно отправить письмо.

Он взял конверт, поднёс к глазам.

— В Лондон? — Он поднял брови. — Улица Грейт-Портленд, сорок семь... — И вдруг нахмурился. — Странно.

— Что странно?

— Да так, ничего. — Он покачал головой. — Просто...

---

<sup>3</sup> Сургуч — это окрашенная плавкая смесь из твёрдых смол, воска и других наполнителей.

давно не видел писем по этому адресу. Очень давно. — Он поднял на меня глаза. — Вы уверены, что ваш адресат всё ещё там живёт?

Сердце пропустило удар.

— А почему вы спрашиваете?

— Да так. — Он пожал плечами. — Бывает, люди переезжают — тогда почту перенаправляют. Не переживайте. — Он взвесил конверт на ладони. — Лёгкое. Два пенса<sup>4</sup>.

Я положила монеты на стойку. Он аккуратно опустил письмо в сумку с исходящей почтой.

— Ждёте ответа, мисс?

— Да.

— Тогда наберитесь терпения. Лондон — большой город. Порой письма идут дольше, чем ждёшь.

Я вышла на улицу. Слова почтмейстера звенели в ушах: «Давно не видел писем по этому адресу. Очень давно». Что это значит? Может быть, ничего. Может быть, мистер Торн просто переехал. А может быть...

Я не дала себе додумать эту мысль.

По дороге домой я остановилась у яблони. Потрогала свежие побеги — холодные от утренней росы, но живые.

— Мы справимся, — прошептала я.

---

<sup>4</sup> Пенс — это разменная денежная единица.

## Глава VII

В тот день, когда я впервые увидела мистера Харгривза, шёл дождь — мелкий, настойчивый, из тех, что заряжают с утра и не обещают конца. Вода стекала по стёклам, искажая улицу: дома расплывались, деревья клонились под тяжестью влаги, а мир за окном выглядел так, будто его написал художник, не пожалевший серой краски. В доме было холодно. Камин, растопленный с утра, едва теплился.

Мне исполнилось шестнадцать три месяца назад. День рождения пришёлся на август, в самый зной. Мы не отмечали. Я и не вспомнила бы, если бы мать не произнесла тихо: «С днём рождения, Лизз» — и не протянула мне старую брошь, единственную драгоценность, что у неё осталась. Я поблагодарила, приколола её к платью, и мы вернулись к обычным делам. С тех пор дни рождения сделались для меня просто числами в календаре: они приносят не чудеса, а очередной год ожидания.

В тринадцать я ещё верила, что с возрастом придёт что-то новое — смелость, возможность, знак судьбы. Я написала письмо в Лондон, на адрес, которого, возможно, уже не существовало. Или человеку, которого, возможно, уже не было в живых. Прошло три года. Ответа не было. Порой мне чудилось: моё письмо так и лежит под грудой чужих конвертов, покрываясь пылью, как старые книги в библиотеке. А может,

его вскрыли, прочитали — и бросили в камин. Не знаю, что хуже.

И всё же в тот дождливый день во мне теплилась упрямая, неразумная надежда: может быть, шестнадцатый год принесёт перемены. Глупо, конечно. Судьба, как и почта, редко доставляет то, что ты ждёшь.

Я сидела у окна в своей комнате, поджав ноги, и смотрела в сад. Старая яблоня мокла под дождём. Три года я смотрела на неё — и все три года она казалась мне мёртвой, даже когда цвела по весне.

Отец объявил за завтраком, что к нам приедут гости. Он произнёс это, не поднимая головы от газеты. В последние годы он вообще редко поднимал голову.

— Мистер Харгривз прибудет сегодня. Обсудим дела.

Я не спросила, кто это. Поняла сразу. У отца был особый тон для таких объявлений — ровный, почти скучающий, словно речь шла о покупке новой лошади. За последние два года он уже дважды пытался устроить моё будущее. Первый претендент, владелец мельницы, говорил исключительно о ценах на зерно, и, кажется, его единственной страстью был ячмень. Второй, сын местного судьи, имел такое выражение лица, будто только что съел лимон и ещё не решил, обижаться ли. Оба раза отец отступал. Но я знала: это ненадолго. Сегодня в его голосе звучала усталая решимость человека, которому надоело ждать, пока дочь образумится.

Ближе к полудню хлопнула входная дверь, и в прихожей

завучали голоса: сперва отцовский, затем чужой — низкий, уверенный. Шум дождя заглушал слова, но я уловила короткий вежливый смех. Тот самый смех, каким смеются люди, желающие показать, что они приятные собеседники.

— Лизз, — отец заглянул в гостиную, — иди сюда. Познакомься с мистером Харгривзом.

Я вышла в коридор. Мистер Харгривз стоял там — высокий, широкоплечий, он заполнял собой почти всё пространство. Из тех людей, что входят в комнату и сразу делают её меньше. На вид ему было за тридцать. Чёрный сюртук сидел безупречно — так сидит только работа умелого портного. Светлые волосы, аккуратно зачёсанные назад, с проседью на висках — у таких мужчин проседь выглядит не возрастом, а украшением. В левой руке он держал пальто, перекинутое с нарочитой небрежностью. Правая покоилась на трости с серебряным набалдашником<sup>5</sup>. На безымянном пальце правой руки поблёскивал перстень — серебряный, с тёмным камнем, слишком простой для такого человека. Он не сочетался с дорогим сюртуком и выглядел так, будто его носили много лет и никогда не снимали. На ботинках — ни капли грязи. Я невольно перевела взгляд на дождь за окном: либо этот человек ходит по воде, либо у него очень хороший слуга.

Он улыбнулся. Улыбка была правильная: ровные белые зубы, лёгкий наклон головы. Но глаза оставались холодны-

---

<sup>5</sup> Набалдашник — это насадка, ручка или утолщение на верхнем конце трости, палки или другого подобного предмета.

ми. Оценивающими. Они скользнули по мне — от причёски до подола, — и я почувствовала себя лошадью на ярмарке, которую осматривает опытный покупатель.

— Мисс Асквит, — произнёс он. — Рад знакомству.

— Я тоже, — отозвалась я. Постаралась, чтобы голос не дрогнул. Кажется, получилось.

Я вдруг вспомнила себя три года назад: худенькая, с торчащими лопатками и тонкими запястьями, на которых можно было пересчитать все косточки. Я сутулилась, будто пыталась стать меньше, незаметнее. Теперь всё было иначе. Я выпрямилась — не потому что мать учила, а потому что устала прятаться. Черты лица заострились, волосы отросли, и я научилась укладывать их так, чтобы не выбивались из причёски. Но главное — изменился взгляд. Прежде я отводила глаза первой. Теперь — нет. Я заняла ровно столько места, сколько мне было нужно.

Мы стояли в коридоре. Дождь стучал по крыше, отсчитывая секунды. Я сцепила руки за спиной — они слегка подрагивали, и я не хотела, чтобы он заметил.

— Вы любите читать? — спросил он.

— Да.

— Что же?

— Романы.

Он одобритительно кивнул, будто я дала правильный ответ.

— Моя покойная жена тоже любила романы. Это хорошее занятие.

— Вы были женаты?

— Да. — Он помолчал, постукивая пальцами по набалдашнику трости. Звук выходил чёткий, ритмичный, будто отмерял время. — Она умерла два года назад. Остались дети: Томас, ему девять, и Эми — пять.

Он замолчал, и по лицу его скользнула лёгкая тень.

— Им непросто без неё. Особенно младшей. Она всё ещё ждёт, что мама вернётся. Вчера я нашёл её под лестницей — она разговаривала с маминой перчаткой, как с живым человеком.

Это было неожиданно. Я приготовилась к холодной сделке, к разговору о состоянии и положении, а он вдруг рассказал о дочери, которая разговаривает с перчаткой.

«Смогу ли я заменить им мать?» — мелькнула мысль. Я представила, как играю с Эми, читаю ей на ночь, слежу, чтобы Томас не забывал надевать шарф в холод. И тут же увидела другое: чужой дом, я стою у окна, смотрю на такую же яблоню, а дети зовут меня мамой — и я не знаю, кто я теперь: женщина, мать или просто человек, взявший на себя чужую роль.

— А чем вы занимаетесь? — спросила я, отгоняя эти мысли.

— У меня текстильная фабрика. Производим шерсть и лён. Также владею небольшой долей в судоходной компании. — Он говорил спокойно, без хвастовства, как человек, перечисляющий обычные вещи. — Дела идут неплохо, но тре-

буют постоянного внимания. Если не следить за делом, оно начинает следить за тобой.

Я кивнула, хотя ничего не знала о делах. Но он говорил так, что хотелось кивать.

Отец предложил прогуляться по саду. Я не хотела идти, но отказаться при нём не могла. Мы вышли на улицу. Сад был мокрым после дождя, солнце уже начинало пригревать. Трава блестела, воздух пах свежестью и влажной землёй.

Мы шли медленно. Он говорил о детях, о доме, о делах — всё это звучало уверенно, упорядоченно. Я слушала, кивала, но почти не слышала. На куст рядом с нами села бабочка — ярко-оранжевая, с тёмными пятнами на крыльях. Раскрыла и закрыла их — раз, другой, будто проверяя, — а затем взмыла и улетела за пределы сада.

Я проводила её взглядом и почувствовала укол зависти. Вот она — свобода. Лёгкая, мгновенная, ничем не связанная.

— Вы молчаливы, — заметил он.

— Задумалась.

— О чём?

Он смотрел с любопытством, будто я была загадкой, которую ему предстояло разгадать. А может, то было просто вежливое внимание человека, знающего правила игры.

— Я думала о том, что здесь когда-то был красивый сад, — сказала я. — Мать ухаживала за ним. Я видела старые за-

рисовки<sup>26</sup>: розы вдоль дорожек, клумбы с лавандой, беседка, увитая плющом. Теперь всё заросло.

Он оглядел сад, потом снова посмотрел на меня — внимательно, будто впервые увидел.

— Всё можно исправить. Сад восстанавливают. Нужно только время и немного заботы.

— И семена, — добавила я тихо. — Без семян ничего не вырастет.

Он улыбнулся — на этот раз чуть шире, будто оценил мою реплику. Я не знала, понял ли он, что я имела в виду. Или подумал, что это просто девичья метафора о саде.

— Надеюсь, мы найдём общий язык, — сказал он. — Для детей важно, чтобы в доме была гармония.

Он уехал через час. Я стояла у окна и смотрела, как его тёмный экипаж скрывается за поворотом. Дождь размывал силуэт, но тот всё равно оставался чётким, словно выгравированным на фоне серой улицы.

\*\*\*

Я прошла на кухню. Мэри перебирала бобы за столом, её пальцы двигались с механической точностью — так двигаются руки человека, который делает одно и то же тридцать лет. Увидев моё лицо, она отложила бобы и упёрла руки в бока:

— Ну, рассказывайте. Что за джентльмен?

---

<sup>6</sup> В изобразительном искусстве — это рисунок или набросок, который делают с натуры.

— Его зовут мистер Харгривз, — сказала я, опускаясь на табурет. — Вдовец. У него текстильная фабрика, двое детей и ботинки, на которые дождь не смеет упасть.

— Ботинки — это важно, — серьёзно сказала Мэри. — Грязные ботинки выдают слабый характер. А каков он сам?

— Он... правильный.

— Правильный? — Мэри скривилась так, будто я сказала «протухший». — Это худшее, что можно сказать о мужчине. Правильный — значит, всё делает как положено. Но сердце на это не кладёт. Правильный женится, потому что так заведено, а не потому что душа просит. Это не комплимент, мисс Лиззи. Это приговор.

Я невольно улыбнулась. Мэри умела высказывать мысли так, что они становились похожи на пословицы — только более честные.

— Но он говорил о покойной жене, — возразила я. — И о детях. О том, как младшая разговаривает с маминой перчаткой.

Мэри замолчала. Пальцы её замерли над бобами.

— Это другое, — сказала она тише. — Человек, который видит, как дочь говорит с перчаткой, — он не просто правильный. Он что-то чувствует. — Она помолчала. — Но это не значит, что вы должны идти за него.

— Отец считает иначе.

— Ваш отец — хороший человек. — Мэри снова принялась за бобы. — Но он из тех мужчин, кто думает, будто жен-

щине нужен дом, а не любовь. Он не понимает, что дом без любви — это просто стены. А стены греют только от камина.

Я смотрела на неё и думала: вот Мэри — служанка, никогда не бывшая замужем, без фабрики, без экипажа, без серебряного набалдашника. И она понимает жизнь лучше, чем все мои родственники вместе взятые.

— Что же мне делать?

— То, что вы уже делаете. — Она подмигнула. — Доведать себе. Это редкое качество, мисс Лизз. Не теряйте его.

\*\*\*

Я вышла в сад. Дождь перестал, но воздух ещё был влажным, и с листьев срывались ленивые капли. Уильям сидел на скамейке под яблоней, вытянув ноги и глядя в небо.

— Ну что, — сказал он, не поворачивая головы, — поздравляю.

— С чем?

— С женихом. Я видел его из окна. Трость, ботинки, седина на висках — прямо картинка. Тебе не кажется, что он слишком хорош, чтобы быть настоящим? Может, он фарфоровый? Ты проверяла?

Я села рядом:

— Очень смешно.

— Я старался. — Он наконец повернулся ко мне. — И что? Свадьба в июне? Или в мае, пока розы цветут?

— Я не собираюсь выходить за него.

— О. — Уильям изобразил задумчивость. — Значит, ты

отвергла лучшего жениха в Норфолке. Второго лучшего, если считать мельника. И третьего, если считать сына судьи. Впечатляющая последовательность.

— А ты, я погляжу, в ударе.

— Это единственное развлечение в нашем доме. — Он пожал плечами. — Кроме наблюдения за тем, как отец читает газету. Вчера он перевернул страницу — я, признаюсь, затаил дыхание.

Я рассмеялась. Уильям иногда бывал невыносим, но сегодня он был невыносим именно так, как мне требовалось.

\*\*\*

Вечером я вошла в гостиную. Отец сидел в своём кресле. Газета лежала на коленях, и он даже не делал вид, что читает. Дурной знак. Если уж отец отложил газету — разговор предстоит серьёзный.

— Он хороший человек, — сказал отец. — У него есть дом, состояние, положение. Он ищет жену.

— Я знаю.

— Он ищет мать для своих детей. Это хорошая партия.

Я смотрела на его руки, сжимавшие подлокотники. Лицо ничего не выражало, но в глазах стояло что-то похожее на отчаяние — отчаяние человека, который не знает, что делать с собственной дочерью.

— Ты хочешь, чтобы я вышла за него?

Отец поднял голову, посмотрел на меня:

— Я хочу, чтобы ты была обеспечена. Чтобы у тебя был

дом. Чтобы о тебе заботились.

— А как же любовь?

— Любовь приходит со временем. — Он помолчал. — Или не приходит. Но это не главное.

Я смотрела на него и думала: вот человек, который женился на женщине, любившей другого. Который знал об этом — и всё равно женился. Яблоню посадила мать, за несколько лет до моего рождения, но все эти годы её молча и терпеливо поливал отец, пока мать смотрела в окно и ждала другого. Я не знала, что сказать. Я знала только, что не хочу повторить их судьбу.

— А если я не хочу такой жизни? Если я хочу сама решать, что для меня главное?

Отец вздохнул:

— Лизз, мирустроен иначе. Есть правила, которым нужно следовать.

— Но почему? — Я поднялась. — Почему я должна жертвовать своей жизнью ради чьих-то правил? Почему ты пожертвовал своей?

Он замолчал. Пальцы его дрогнули, но он ничего не ответил. Он никогда не отвечал на такие вопросы — и на этот раз я не ждала ответа.

Я развернулась и вышла. В коридоре прислонилась спиной к холодной стене, закрыла глаза и стояла так, пока дыхание не выровнялось.

В голове было пусто — и от этой пустоты делалось толь-

ко страшнее. Но где-то глубоко, тихо и упрямо, жило одно знание — твёрдое, как семечко под землёй, что ждёт своего часа. Сад не восстановится сам — его нужно сажать заново. А для этого нужны семена. И я их найду. Даже если пока не знаю, как сделать первый шаг.

## Глава VIII

*В которой я попадаю в ловушку*

Через несколько недель после визита мистера Харгривза я получила от него записку. Он писал, что хотел бы показать мне своё поместье — небольшое, но уютное, в часе езды от города. «Вы увидите сад, о котором я говорил, и, возможно, передумаете насчёт моего предложения».

Я не хотела ехать. Но отец, прочитав записку, сказал: «Поезжай. Дай ему шанс». И я поехала — не потому, что хотела дать шанс, а потому, что устала спорить.

Экипаж ждал у калитки — тот самый, тёмно-коричневый, с гербом на дверце. Теперь я разглядела его внимательнее: два льва, обращённые друг к другу, а между ними — узор, похожий на поток воды. Слишком нарядный для простой поездки за город. Но тогда я не придавала этому значения. Я вообще много чему не придавала значения — и напрасно.

Поместье оказалось больше, чем я ожидала. Не «небольшое и уютное», а внушительное: колонны у входа, подъездная аллея, обсаженная дубами, фонтан во дворе. Струя воды взлетала высоко и рассыпалась брызгами — работал фонтан исправно, не то что у нас в городе. В солнечном свете это выглядело почти красиво. Почти.

Харгривз встретил меня у дверей. Он был в светлом сюртуке, без трости, и улыбался той самой улыбкой, которая ни-

когда не касалась глаз.

— Мисс Асквит. Рад, что вы приняли приглашение.

— Мой отец настоял.

— Ваш отец — мудрый человек. — Он подал мне руку.

— Позвольте показать вам дом.

Дом оказался под стать хозяину: правильный, богатый и холодный. Высокие потолки, мраморные полы, картины в золочёных рамах. Всё на своих местах. Ни единой вещи, которая лежала бы не так. Я шла через анфиладу<sup>7</sup> комнат и думала: этот дом похож на музей. На музей человека, который умер и оставил после себя только вещи.

В гостиной нас ждал накрытый стол: фарфор, серебро, свежие цветы. Слишком торжественно для обычного визита.

— Вы очень постарались, — заметила я.

— Для вас — всё самое лучшее. — Он отодвинул стул.

— Прошу.

Обед прошёл в разговорах, которые я едва запомнила. Он говорил о фабрике, о ценах на шерсть, о планах расширить дело. Я кивала, ела и думала только о том, скоро ли можно будет уехать. После обеда он предложил прогуляться по саду.

Его сад, в отличие от нашего, был образцовым: розы, подстриженные кусты, ровные дорожки. Но в нём не чувствова-

---

<sup>7</sup> **Анфилада**— это ряд помещений (комнат, залов), которые примыкают друг к другу и выстроены в одну линию. Их дверные проёмы расположены строго на одной оси — то есть друг напротив друга.

лось жизни. Как и во всём этом поместье. Мы шли по аллее, когда он вдруг остановился.

— Мисс Асквит. Лизз. — Он взял меня за руку. — Я должен сказать вам кое-что.

Я попыталась высвободиться — он держал крепко.

— Я не могу больше ждать. Я думал о вас каждый день. С того самого дня, как увидел вас впервые. Я знаю, что вы молоды. Я знаю, что вы не любите меня. Но я могу дать вам всё. Дом. Деньги. Положение. Детей, которых вы будете любить.

— Мистер Харгривз...

— Дайте мне закончить. — Его пальцы сжались сильнее, впиваясь в кожу, и я почувствовала тупую, ноющую боль. — Я не требую ответа сейчас. Но я хочу, чтобы вы знали: я не отступлю. Вы станете моей женой. Рано или поздно. Вы слишком хороши, чтобы провести жизнь в нищете. Я могу дать вам всё. Подумайте об этом.

Он притянул меня ближе. Я почувствовала его тяжёлое дыхание и отвернула лицо. Его рука легла мне на талию — собственнически, уверенно, будто я уже принадлежала ему.

— Вы не понимаете своего счастья. Любая другая на вашем месте...

— Я не любая другая. Отпустите меня.

Я оттолкнула его — сильно, обеими руками. Он пошатнулся, но устоял. По лицу его скользнуло удивление, а следом — злость. Та самая, которую он, должно быть, долго прятал за улыбками.

— Вы пожалеете, — проговорил он. — Вы ещё вспомните этот день.

— Возможно. — Я поправила платье. — Но не так, как вы думаете.

Я не стала ждать, что он скажет дальше. Развернулась и пошла — сперва быстро, потом почти побежала. Через его безупречный сад, мимо его безупречных роз. Сердце колотилось у самого горла, ноги скользили по мокрой траве.

В экипаже меня била дрожь — то ли от холода, то ли от страха. Рука, которую он сжимал, всё ещё болела. Но сильнее боли было понимание: он не отступит. Это был не визит. Это была ловушка. И я в неё попала.

\*\*\*

Два дня я ходила по дому как тень. Помогала матери на кухне, перебирала бельё, чистила овощи. Руки двигались, но мысли были далеко — где-то между улицами Лондона и этим домом. Я должна уехать. Скоро. Пока Харгривз не вернулся. Пока отец не уговорил меня дать ему «ещё один шанс».

В пятницу вечером я сидела в гостиной с книгой. Не читала — просто смотрела на страницу, но слова не доходили. Мать появилась через час. Села в своё кресло, взяла вязание. Спицы задвигались ровно и быстро. Но я заметила: смотрит она не на вязание. Смотрит в окно, на яблоню.

— Мама, — позвала я.

— Да, — отозвалась она, не оборачиваясь.

— Ты когда-нибудь хотела уехать?

Мать замерла. Спица остановилась в её руке. Она медленно повернулась ко мне — так, будто я постучала в дверь, которую никто не открывал восемнадцать лет, а теперь внутри вдруг кто-то шевельнулся.

— Уехать? — переспросила она.

— Да. Уехать из этого города. Начать новую жизнь. Уехать туда, где никто тебя не знает.

Она молчала долго. Я слышала, как тикают часы в коридоре, как шумит ветер за окном. Мать смотрела на меня, и лицо её постепенно менялось — с холодно-отрешённого на осмысленное, живое.

— Я хотела, — сказала она наконец. — Когда-то хотела.

— А теперь?

Она опустила глаза на вязание. Пальцы сжали спицы, но вязать она не стала — просто держала их, будто они были единственной опорой.

— Теперь я думаю: место не меняет человека. Можно уехать далеко, но остаться той же.

— А что, если я хочу убежать не от себя, а от этой жизни? — спросила я. — От этой тишины. От этого дома. От человека, который считает, что я стану его женой, хочу я того или нет.

Мать подняла глаза. Смотрела на меня долго — так долго, что я отвела взгляд.

— Ты о Харгривзе?

— Да. Он не слушает. Он думает, что я передумую. И он

не остановится.

Мать помолчала. Потом сказала — тихо, почти шёпотом: — Некоторые мужчины не останавливаются. Они привыкли получать то, что хотят.

— И что мне делать?

— То, что я не сделала. — Она посмотрела мне прямо в глаза. — Уехать.

Я замерла. Мать, которая никогда не говорила о побеге, которая восемнадцать лет сидела у окна и ждала другого, — только что сказала мне: уезжай. И в этот миг я поняла: она знает. Знает, каково быть пойманной. И не хочет, чтобы я повторила её судьбу.

— Ты ещё молода, — добавила она, и голос её дрогнул. — Ты не знаешь, чего хочешь. Но ты знаешь, чего не хочешь. Иногда этого довольно.

Я встала и вышла, не сказав больше ни слова. Но на этот раз моё молчание было другим — не горьким и обиженным, а решительным.

\*\*\*

Я поднялась к себе, закрыла дверь и села на кровать. Слова матери всё ещё звучали в ушах: «Ты знаешь, чего не хочешь. Иногда этого довольно».

Я открыла шкатулку и развернула конверт. «Лондон. Улица Грейт-Портленд, 47». Адрес, который привёл меня к правде о матери. А теперь — адрес, который может увести меня отсюда.

Я сняла платье, сложила его на стул и легла спать. Но перед тем как закрыть глаза, ещё раз посмотрела на конверт. Я уеду. Не сейчас — сейчас мне всего шестнадцать, и ни один дилижанс не примет несовершеннолетнюю без сопровождения. Но как только мне исполнится восемнадцать — я уеду. Я дала себе это слово.

# Глава IX

*В которой я получаю письмо*

В то утро я проснулась от стука дождя. Он барабанил по крыше, по стёклам, по мокрой земле — ритмично, настойчиво. Холод просачивался в комнату сквозь щели в окне. Встать не хотелось. Вообще ничего не хотелось — только лежать в этой тишине, где никто не смотрит на меня как на задачу, которую нужно решить.

Но тишина не помогала. Она только усиливала то, что я пыталась заглушить. Я снова и снова прокручивала в голове тот день: его руку на моей талии, его дыхание, его слова — «Вы станете моей женой. Рано или поздно». И мой побег через сад, мимо ровных роз, которые теперь казались не цветами, а свидетелями — всё видели и молчали.

Я оделась и спустилась вниз. Мать стояла у плиты, опершись руками о край стола, и смотрела в окно. На столе, рядом с маслёнкой, лежало письмо. Белый конверт, аккуратный почерк, сургучная печать.

— Ты сегодня бледная, — сказала мать, не оборачиваясь.

— Не спала. Думала.

— О чём?

Я помедлила:

— О том, что сказала тебе вчера. О том, что я больше не могу здесь оставаться.

Мать обернулась. Посмотрела на меня долгим взглядом — не холодным, не осуждающим, а каким-то новым. Словно впервые увидела во мне не ребёнка, а взрослого человека, который принимает решения. Она ничего не сказала — только кивнула, едва заметно, и отвернулась к плите.

Я села за стол. Когда мать вышла, взяла конверт. Я знала, что не должна. Но я уже увидела имя: «Мистеру Асквиту от мистера Харгривза». Пальцы сами развернули лист.

«Уважаемый мистер Асквит,

Благодарю Вас за тёплый приём, оказанный мне в Вашем доме. Имев удовольствие познакомиться с Вашей дочерью, мисс Элизабет, я был весьма впечатлён её умом и манерами.

В связи с этим я хотел бы обсудить возможность нашего союза. Я намерен приехать в конце месяца, чтобы получить ответ — и, смею надеяться, ответ благоприятный. Дела мои требуют определённости, и я не хотел бы откладывать решение.

С совершенным почтением,

Генри Харгривз».

Я перечитала письмо дважды. «Возможность союза». «Ответ благоприятный». «Дела требуют определённости». Он писал об этом как о сделке. Потому что для него это и была сделка. Он даже не спрашивал, хочу ли я, — он спрашивал отца. Словно я была фабрикой, которую можно купить, если предложить хорошую цену.

Я положила письмо на место и стояла у стола, глядя на

него. В голове крутилось: «Я не хочу быть его женой. Я не хочу жить в его доме, в его городе, в его мире». И ещё одна мысль, новая: «Я боюсь его. Я должна уехать».

На кухню вошла Мэри с корзиной белья. Увидев моё лицо, она остановилась:

— О Господи. Опять. Что на этот раз?

— Ничего.

— У вас такое лицо, будто вы только что прочитали собственный смертный приговор. — Она подошла к столу, взяла письмо, пробежала глазами. — «Возможность союза». Ну и словечки. Хуже, чем у нотариуса.

— Он хочет приехать в конце месяца. За ответом.

Мэри фыркнула:

— Пусть приезжает. Ответ — это не пирог. Его не нужно печь заранее. — Она отложила письмо и посмотрела на меня серьёзно. — Вы уже решили?

— Я решила, что не хочу, но этого мало. — Я сглотнула. — Он не примет «нет».

Лицо Мэри, обычно такое спокойное, стало жёстким.

— Тогда вам нужно уезжать. Пока он не вернулся и ваш отец не уговорил вас дать ему «ещё один шанс».

— Я знаю. Я скоро уеду.

— Вот и правильно. — Она взяла корзину. — Знаете, когда я была молодой, у меня был знакомый. Он всё мечтал уехать в Америку. Каждый день говорил об этом. В понедельник — про корабли. Во вторник — про Нью-Йорк. В

среду — про широкие улицы. И знаете, что?

— Что?

— Он так и не уехал. Умер в Норидже в восемьдесят три года. И на могиле у него написали: «Он мечтал об Америке».

— Она хмыкнула. — По-моему, это самая грустная эпитафия, какую я видела. Но знаете, что ещё грустнее? Он перестал мечтать задолго до смерти. Лет в тридцать. Просто продолжал говорить. Потому что привык.

Я молчала. Мэри взяла меня за руку — неожиданно, крепко:

— Вы не он, мисс Лиззи. Вы устали — это бывает. Но мечты не умирают от усталости. Если они настоящие — они ждут.

\*\*\*

Я нашла Уильяма в библиотеке. Он сидел в отцовском кресле, положив ноги на подставку для дров, и читал книгу в потрёпанном переплёте. Увидев меня, даже не пошевелился, только поднял бровь.

— У тебя лицо человека, которого продают на аукционе, — заметил он. — Не говори, что это Харгривз.

Я протянула ему письмо. Он прочитал, хмыкнул и вернул:

— «Возможность союза». Звучит как заглавие дрянного романа. Ты уже придумала ответ?

— Я не хочу за него замуж.

— Отлично. — Он перевернул страницу. — Значит, ответ — нет.

— Ты говоришь так, будто это просто.

— А что сложного? Он задал вопрос — ты даёшь ответ.

Всё просто.

— Ты забыл про то, что он сделал. В саду.

Уильям замер. Медленно отложил книгу:

— Что он сделал?

Голос его изменился — ни усмешки, ни сарказма.

— Он схватил меня. Сказал, что я стану его женой, хочу я того или нет.

Уильям молчал. Пальцы его сжались в кулак.

— Я убью его, — сказал он наконец.

— Не говори глупостей.

— Это не глупость. — Он посмотрел на меня. — Если он ещё раз приблизится к тебе, я...

— Что? Вызовешь его на дуэль? Ты даже стрелять не умеешь.

— Я умею говорить. — Он чуть усмехнулся, но усмешка вышла кривой. — И могу говорить долго. Очень долго. Он устанет и уйдёт.

Я невольно улыбнулась.

— Но ты права, — сказал он тише. — Я не смогу тебя защитить. Поэтому ты должна спасти себя сама. Но если понадобится помощь — я здесь.

Я смотрела на него и не понимала: почему сейчас? После всех лет холода и насмешек? Почему он вдруг стал другим?

— Почему ты помогаешь мне?

Он долго молчал. Потом сказал:

— Я думал: если я буду достаточно хорошим сыном, мама полюбит меня. Если я буду на её стороне, она посмотрит на меня иначе. Но она никогда не смотрела. Ни на тебя, ни на меня. Ей всегда был нужен только он. Тот, кого она потеряла. Тот, кто оставил ей больше, чем память. — Он отвёл глаза. — Я устал быть хорошим сыном. Может быть, пора попробовать быть хорошим братом.

Я кивнула. Он снова взял книгу, но не раскрыл её. Просто держал, глядя куда-то в стену.

— Я буду скучать, — сказал он тихо. — Но не скажу тебе этого, когда ты будешь уезжать. Я скажу «наконец-то». Чтобы ты не передумала.

Он ушёл, оставив меня одну. Я смотрела ему вслед. Мэри и мать желали мне добра. Но Уильям... Уильям встал на мою сторону. А это совсем другое.

# Глава X

*В которой я говорю правду*

На следующее утро я не спустилась к завтраку.

Снизу доносились приглушённые звуки: мать ставила чайник, гремела посудой. Я лежала, натянув одеяло до подбородка, и смотрела в потолок. В комнате было холодно. Встать не хотелось — не хотелось выходить за дверь, видеть кого-то, говорить. Хотелось, чтобы мир за стенами комнаты перестал существовать хотя бы на час.

Я думала о том, что скажу отцу. Не «я не могу» — это было бы неправдой. Сказать «я не могу» — всё равно что закрыть глаза и притвориться спящей. Сказать «я не хочу» — всё равно что открыть их и посмотреть в лицо тому, кого боишься. А это требовало большей смелости.

Я лежала и думала: вот так, наверное, чувствовала себя мать все эти годы. В пустоте. В тишине. С окном и яблоней за ним.

Через час в дверь постучали.

— Лизз. Ты

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.